



ВИКТОР
ПРОНИН

ПАДАЙ, ТЫ УБИТ!



Виктор Алексеевич Пронин

Падай, ты убит!

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=131183

Падай, ты убит!»: Эксмо; М.: 2008

ISBN 978-5-699-25540-5

Аннотация

Человек написал донос на своего товарища. Другой написал на конверте адрес очень грозной и всемогущей конторы. Третий вложил донос в конверт и опустил письмо в почтовый ящик. И жизнь четвертого человека оказалась сломана. Прошли годы, и наступил час, когда надо платить по счетам. Ведь ничего случайного в нашей жизни не бывает: тайное становится явным, тьма сменяется светом, а ружье, висящее на стене, в конце концов стреляет...

Содержание

1	4
2	25
3	60
4	95
5	132
Конец ознакомительного фрагмента.	163

Виктор Пронин

Падай, ты убит!

1

Если хотите знать, из газет никого не увольняют, из газет гонят – под зад коленом и вслед поленом. И вовсе не потому, что в редакциях осели какие-то уж особенно злобные люди с садистскими наклонностями, жаждущие не просто убить человека, а так ему поддать напоследок, чтоб он долго еще после этого поеживался и вздрагивал по ночам. Во-все нет. Ничего подобного. Увольняют, как и везде. Просто в газетах собираются люди с повышенной образностью мышления, люди, стремящиеся к самоутверждению и ниспровержению. И самое милое, можно сказать, травоядное увольнение они воспринимают остро, гневно и болезненно. Даже покидая редакцию по доброй воле, по собственному желанию и взаимной договоренности, человек не может удержаться, чтобы не поделиться с друзьями: «Вытурили меня, ребята, шуганули, не смогли больше выносить». За этими словами предполагается гражданская дерзость, разумеется, талант, а то и вольнодумство.

Шихина тоже выперли из газеты – не то из «Факела юности», не то из «Молодежного стяга», что-то в этом роде. Вы-

шибли с треском, в двадцать четыре часа, как персону крайне нежелательную, не способствующую нужному воспитанию и правильному освещению событий. «Нужное воспитание и правильное освещение» – это когда через час после поступления газеты в киоски звонит редактору высокое начальство из Большого дома и говорит: «Молодец, Прутайсов! Умница! Так держать! Покажем им кузькину мать, растуды ее в наковальню!»

Конечно, Шихин прекрасно помнил, как именовалась эта газетенка, ему ли не помнить, если ее название было словно вытатуировано у него на лбу, но он прикидывался, что подзабыл, и этим как бы отвечал на нанесенное оскорбление.

Вот-вот, увольнение из газеты – это еще и оскорбление.

Самое интересное, однако, было в том, что никто толком не мог сказать, за что же все-таки его выгнали. Ни он сам, ни редактор Прутайсов, который на заседании редколлегии так яростно и свирепо вращал единственным своим глазом, будто решалась его собственная судьба. Чтобы хоть как-то объяснить происшедшее с Шихиным, скажем так: редактор в нем усомнился. Несмотря на всю неопределенность этих слов, они будут, пожалуй, наиболее верными. Усомнился. В его способностях, в анкетных данных, приверженности чему-то возвышенному, устремленному в будущие тысячелетия, чему тот обязан быть привержен до беспамятства, поскольку работал в газете. Вы, наверно, заметили, что начальству вообще нравятся подчиненные, способные впадать

в неистовство по тому или иному поводу. За этим, правда, просматривается туповатость, но эта наша туповатость, надежная, привычная.

Поговаривали о шихинском фельетоне с диковатым названием «Питекантропы». Обитателям Большого дома фельетон не понравился, в его названии увидели вызов и пренебрежение. В самом деле, назвать питекантропами граждан, которые ходят на субботники, берут обязательства, а случается, и выполняют их, поднимаются к трибунам, охотно впадая и в неистовство, и в беспамятство... Тут у кого угодно волосы встанут дыбом.

Виновником изгнания Шихина из газеты называли и его непосредственного начальника, заведующего отделом со странной уменьшительно-ласкательной фамилией – не то Воробышек, не то Куренок... Сам Шихин произносил эту фамилию каждый раз по-иному, так что установить ее удалось не без труда, понадобились поиски, исследования, встречи с непосредственными участниками событий. И в конце концов Автор доказал – Тхорик. Глазки у Тхорика были маленькие, остренькие, всегда настороженно блестящие из-за стекол очков, выдавая аккуратненький такой умишко, четкий и шустрый. Прыг-скок! Прыг-скок! Из кабинетика в кабинетик, от столика к столику, везде находя по зернышку и везде оставляя милую такую какашечку. На одного уронил, на второго, и дальше, дальше...

А происходило все так.

Прутайсов, с обильным бабьим лицом цвета силикатного кирпича, вызвал Шихина в кабинет, когда там уже собрались члены редакционной коллегии. В кресле, поджав ноги, полулежал Нефтодьев, главный мыслитель. Это уж точно, идеи посещали Нефтодьева в бесконечном множестве, и, что удивительно, все они, обладая необычайной социальной полезностью, в то же время не выходили за пределы дозволенного. Тут же сидела Моросилова, известная на всех этажах здания интимной походкой и печальным взглядом, причем печаль ее была того удивительного свойства, что каждый, кто решался заглянуть в ее глаза, кому удавалось пробиться сквозь мохнатые ресницы, остро ощущал свою личную вину в моросиловской безутешности и готов был на все, чтобы хоть немного скрасить Моросиловой жизнь, развеять ее грусть. Дальше – дерзко-обворожительная Игонина, закинув ногу на ногу и уставившись на Прутайсова потрясающими своими коленками, тоже весьма популярными в этом громадном сумрачном здании времен культа личности. Рядом с редакторским столом, касаясь его локотком, положив на уголок блокнотик с заложенным карандашиком, расположился Тхорик – маленькие ладошки, коротенькие розовые пальчики и туфельки тридцать шестого размера с надставленными каблучками.

Были еще какие-то сотрудники, но Шихин никого не запомнил по причине их полнейшей невыразительности. Жили они, не оставляя следов в чьей-либо памяти. Лишь для

полноты картины можно упомянуть гордую очеркистку Гусиевскую – беременную, с трепетными ноздрями и тяжелым шагом, суматошного фотографа Антипко, ответственного секретаря Фуршаткина – желчного, с хриплым хохотом и доброй душой, спортивного обозревателя Борисухина, ставшего впоследствии музейным специалистом по проблемам первобытно-общинного строя. Его тоже, пришло время, вышибли, впрочем, в разные годы шуганули их из газеты едва ли не всех, но в этом не столько случайность и стечение дурных обстоятельств, сколько железная закономерность. А Шихин, просто Шихин оказался первым.

Вспоминая то давнее заседание, Шихин и сейчас видит скорбно-значительные лица своих товарищей – им будто предстояла гражданская панихида. Члены редколлегии хмурили юные свои брови, качали еще кудлатыми в те времена головами, шелестели какими-то важными бумагами и на татарский манер горестно цокали языками, дескать, ай-ай-ай, как нехорошо, как нехорошо!

О! Как глуп был Шихин, как наивен и счастлив! Он вошел, улыбочиво посмотрел на всех и сел на свободный стул у двери. Конечно, он знал, зачем Прутайсов вызвал его в кабинет, но не мог заставить себя отнестись к происходящему всерьез, более того, он был даже польщен столь пристальным к нему вниманием. Шихин был совершенно уверен в том, что эти люди не желают ему зла и никогда не поступят с ним дурно. Ему казалось, что под хорошее настроение они дого-

ворились пошутить, потешить друг друга игрой в значительных и неприступных, занятых серьезным делом, но его забыли предупредить об этой игре, и вот он вынужден теряться в догадках и валять дурака. А они, увлекшись, продолжали сурово говорить о какой-то непримиримости, убежденности, преданности, говорили о продажности, но так никто и не уточнил, кто продался, кому, сколько взял и за что...

Да, все состоялось здесь, на четвертом этаже здания, в котором размещались редакции, издательства, профсоюзы, суровые коммунальные службы, управление бань и театров, транспортная милиция и, кажется, музей какой-то славы. В коридорах этого здания можно было встретить большого начальника, ну просто невероятно большого – районного, а то и городского значения. Все уступали ему дорогу, жались к стенкам, провожали взглядами, шептались восторженно, расходились взволнованные. Частенько никто не знал, что это за начальник, чем и кем он командует, чьи судьбы решает и есть ли пределы его власти, но приобщенность к чему-то государственному оставалась в робких душах служащих и долго еще давала им ощущение счастья и наполненности.

Во время войны здесь располагался госпиталь с моргом в подвале, а до этого как раз там, где сегодня обитало издательство, выпускающее прозу, поэзию и брошюры о передовом опыте, допрашивали врагов народа, которых одно время расплодилось невероятное количество. И ведь признавались, каялись, хитрили, некоторым даже удалось избежать

подвального помещения, хотя потом они об этом крепко пожалели. С тех пор прошло много времени, но мертвенная стылость в комнатах осталась, от толстых стен, из подвала постоянно тянуло чем-то сырым, вызывающим дрожь в теле, желание принюхаться и осмотреться. Разумеется, это не могло не отразиться на художественных особенностях издаваемых произведений, они тоже получались какими-то стылыми, несмотря на отчаянные усилия местных писателей сказать и свое восторженное слово о великом времени, в котором им довелось жить, в котором живем и мы с вами, дорогие товарищи.

Дом много раз пытались перестроить, добавляли этажи, возводили навесы, парадные лестницы, окружали колоннадами, куда более внушительными, нежели в афинском Акрополе – все старались придать сооружению вид торжественный и величавый, под стать времени. Но проходил год-второй, и все осыпалось, опадало трухой, и снова перед глазами изумленных горожан возникали хорошо знакомые им казарменные стены.

Люди, работающие здесь, невольно, сами того не замечая, менялись, становились сдержанно-значительными, в поведках появлялась спесивость, а у некоторых застывала в глазах грусть отторгнутости от настоящей жизни. Однако стоило им покинуть это здание, и они довольно быстро превращались в нормальных людей – пили вино, одалживали деньги до зарплаты, блудили, являли миру истинные образцы са-

моотречения во имя...

Тут, похоже, Автора слегка занесло, однако он вовремя остановился. Пусть каждый закончит оборванную мысль в меру своего разума и гражданской сознательности.

Вернемся к Шихину.

– Знаете, зачем вас пригласили? – спросил Прутайсов, припав грудью к столу и устремив на Шихина глаз, горящий острой непримиримостью ко всякого рода человеческим недостаткам.

– Не-а! – ответил Шихин и улыбнулся простодушно, а потому вызывающе.

Он посмотрел на каждого, перевел взгляд на окно. Начались ранние декабрьские сумерки, в домах уже светились окна, ветер заносил в раскрытую форточку снежинки, и они падали на редакторский стол мелкими холодными капельками, опускались Прутайсову на лицо, но тому, похоже, это нравилось, и он не закрывал форточку – даже слегка повернулся к окну, пытаясь ловить лицом снежинки.

– Так. – Редактора покорила безмятежность Шихина, она разрушала его суровую обеспокоенность, ломала значительность события и даже как-то принижала его самого.

– Перестань паясничать! – строго сказал Тхорик и осторожно покосился на редактора – как, мол? – Если натворил, имей мужество признаться.

– А чего натворил-то? – Шихин никак не хотел проникнуться важностью происходящего. Однако, оглянувшись по

сторонам, он наткнулся на отчужденные лица, ускользающие взгляды. И только тогда в него начало просачиваться страшноватое понимание – перед ним сидят совсем не те люди, которых он знал до сих пор. Словно чужие существа надели на себя шкуры его товарищей, приняли их облик и собрались вершить свой суд над ним. С возрастающим удивлением он увидел, что и выражения лиц у них незнакомые, а в глазах неподвижно застыла праведная безжалостность, готовность поступить сурово, но справедливо, в полном согласии с требованиями великого времени и последними установками Большого дома. И еще он увидел полнейшее нежелание понять что-то, вникнуть, разобраться. Все было утрясено, осталось лишь огласить решение, или уж, скажем прямо, – приговор. «Они собрались на казнь, но боятся крови, – усмехнулся про себя Шихин. – Однако казнь состоится в любом случае. Неумелая и оттого особо жестокая, она пугает их самих, но остановиться они уже не смогут».

Так все и произошло.

Выступили все. Осудили Шихина за безнравственность и идеологическую безграмотность, выразившуюся в написании фельетона «Питекантропы», пренебрежение духовными достижениями, стремление осмеять что-то всем родное и бесконечно всеми любимое. Заодно припомнили опоздания на дежурство, невыход на субботники, перегибы и перекосы в устных заявлениях. В выступлениях чувствовалась боль за порученное дело, все скорбели о Шихине, всем было жаль

расставаться с ним, но что делать, что делать, ребята, есть в нашей жизни ценности, пренебрегать которыми мы не можем.

Моросилова, мерцая как никогда прекрасными глазами, повлажневшими от нахлынувших чувств, поделилась наболевшим – не любит Шихин газету, ох, не любит, и для него же будет лучше, если он уйдет, если подыщет себе дело по душе, по способностям. Это грустно, но не всем дано работать в газете, ох, не всем!

Предстоящее материнство придавало Гусиевской силу и твердость духа, поэтому она была менее обходительна: мол, пусть пишет заявление и уходит подобру-поздорову, сказала очеркистка, не придавая слишком большого значения своим словам, поскольку ничему последнее время не придавала значения – она была где-то в конце седьмого месяца, и этим все объяснялось.

Даже Нефтодьев поднялся из своего кресла – оказывается, он был потрясен способностью Шихина шутить над вещами святыми, неприкосновенными, шутить над которыми непозволительно.

– А над какими позволительно? – доверчиво поинтересовался Шихин. – Давайте составим список, согласуем где надо и вывесим на видном месте возле туалета – там всегда полно народа. И будем себе шутить безбоязненно сколько душе угодно. А?

– Перестань паясничать! – повторил Тхорик, холодно

сверкнув очками. Произнес он эти слова столь веско, сильно, с такой внутренней убежденностью, что все тут же позабыли и о его малом росте, и о красноватых, туго обтянутых кожей ладошках, и о тридцать шестого размера туфельках.

– Что-то уж больно много святынь, – проворчал Шихин. – Не редакция, а храм какой-то...

– Да, храм! – взвился Прутайсов. – И мы никому не позволим глумиться над нашими святынями! Люди, понимаешь, кровь проливали, а он... – Прутайсов не успел проглотить выделившуюся гневную слюнку, закашлялся и продолжать не смог.

– О чем говорить! – воскликнула Игонина, забросив правую ногу на левую, что не ускользнуло от напряженного глаза Прутайсова. – Конечно, Митяй, тебе не мешает поработать над собой.

– А кому мешает?

– Знаешь, кончай трепаться! – весело сказала Игонина и села поудобнее, не забыв про коленки – они у нее неизменно оказывались обращенными к редактору. Так золотые цветы подсолнечника какая-то неведомая сила неумолимо поворачивает вслед за солнцем.

Все жалели Шихина, расставаться с ним было тяжело, но понимали – надо. Был звонок, да, был звонок. Прутайсову намылили шею, намяли бока, отстегали по заднице, а собрание, советы и укоры – все это чепуха.

Проголосовали.

Решили единодушно – не соответствует.

– Хочешь что-нибудь сказать? – спросил Прутайсов, с трудом оторвав глаз от солнечных игонинских коленок и поворачив его в сторону Шихина.

– Не-а!

– Скажи, как относишься к своим ошибкам, как воспринимаешь дружескую критику товарищей, как намерен жить дальше, в конце концов!

Шихин вздохнул, склонил голову к одному плечу, к другому, как это делают озадаченные чем-то собаки, посмотрел в светлый, почти прозрачный глаз Прутайсова, обрамленный воспаленными веками, посмотрел во второй, затянутый молочно-белой пленкой, пожал плечами.

– Даже не знаю, чем вам помочь...

– Но мы должны что-то записать в протоколе!

– Запишите, что... Что все присутствующие приняли участие в обсуждении, единодушно выразили озабоченность судьбой своего товарища, его творческими заблуждениями. А жить... Жить я собираюсь и дальше, если вы не возражаете...

– Как?!

– В полном соответствии...

– Ну? – напрягся Прутайсов. – Ну? В полном соответствии с чем?

– С этими... Установками.

– Какими установками?

– Ну укажите какие-нибудь... Мало ли их... Какие вам покажутся наиболее уместными.

– Перестань паясничать!

– Запишите, что я очень благодарен за... За что я вам благодарен? Сейчас сообщаю... Я благодарен за искреннюю заботу о моем росте, о моем будущем. Запишите, что я постараюсь оправдать оказанное доверие и никогда... никогда не буду паясничать в столь ответственные моменты своей жизни.

Шихин почувствовал, что невольно включается в игру, которую никак не мог постичь столько лет. А теперь, стоя на ковре в редакторском кабинете, уже отторгнутый, вышибленный, он вдруг осознал, что ему открылись тайные правила этой игры, ее суть и назначение. Главное – подыгрывать, поддакивать, просто кивать, но с восторгом и убеждением. Глаза должны сверкать, голос звенеть и вибрировать от страсти и неистовства. И упаси боже, если в твоем взгляде, в складках твоих штанов или в непокорной пряди над правым ухом проявятся сомнения, колебания или просто раздумье. Упаси боже! От непокорных прядей надо избавляться заранее.

– Ну, ладно, – устало проговорил Прутайсов. – Достаточно. Учти, Шихин... У нас были основания провести сегодняшнее мероприятие не столь гуманно. Ты понял? Далеко не столь гуманно. Тебе здорово повезло, что все решилось здесь. А не в другом месте.

– А что, посадить могли? – спросил Шихин шепотом.

– Перестань... – начал было Тхорик, но его перебил Прутайсов.

– Да! – гаркнул он. – Да! На твой вопрос я отвечаю – да! Понял?

– А за что?

– Для порядка. Понял? Чтоб порядок у нас был. На страницах, в мозгах, на языке!

– В государстве? – спросил Шихин.

Прутайсов встал, давая понять, что заседание окончено. Все поднялись, загалдели с облегчением, заговорили о чем-то постороннем. Шихина обходили стороной, он уже был чужаком, здесь оказался случайно, ненадолго и скоро вообще уйдет. У всех было такое ощущение, будто пришлось проделать нечто неприятное, но необходимое. А теперь, когда работа сделана, можно вздохнуть, снять с лица строгость и непреклонность. В коридоре некоторые даже осмелились подойти к Шихину, похлопать по плечу. Опять чуть не плакала Моросилова, и ее голубые глаза были особенно печальны. Как ни в чем не бывало, с шалым вызовом улыбалась Игонина, сознающая, что и она сама, и ее потрясающие коленки выглядят недоступно, но в то же время оставляют надежду смельчаку, если таковой сыщется. Шихинский начальник прошел мимо с высоко вскинутой головкой. Поскольку все люди, с которыми Тхорику приходилось общаться, были выше его, то ему ничего не оставалось, как жить, прижав заты-

лок к лопаткам. И была в его маленьких, сжавшихся кулачками ягодицах горделивость – вот, мол, какие вопросы решаем, судьбы решаем!! И правильно, черт возьми, решаем! А годы спустя, вспомнив их, Шихин понял – нет, не в кулачки они были сжаты, их свело судорогой – нелегко далось Тхорику это государственное мероприятие. Государственное? Да, все правильно. Заботой о государстве можно объяснить любой свой поступок, вам не кажется? Более того, ваше объяснение будет с пониманием принято. Поначалу придется, конечно, нелегко, угрызения, то-се, а потом все станет на свои места, потом вы и не сможете иначе.

Шихин сидел за своим фанерным однотоумбовым столом, не торопясь разбирал бумаги, беззлобно комкая их и бросая в корзину. Не родившись, не успев вмешаться в судьбы и в борьбу за справедливость, умирали фельетоны, статьи, репортажи. Никогда он уже не вернется к этим письмам, к этим бедам, схваткам и надеждам. Простите и прощайте, жалобщики, склочники, анонимщики и доносчики! Не смог я откликнуться на ваши призывы, доказать вашу правоту. Ухожу. Жалуйтесь другим, отправляйте письма по иным адресам. Авось где-нибудь вам поверят так же, как поверил я, авось у кого-то найдется для вас время, кто-нибудь посочувствует вам и проникнется.

В отделе молчали, а если кто заглядывал невзначай в дверь, то тут же смолкал на полуслове и отшатывался назад, будто попадал в палату к тяжелобольному, которому толь-

ко что поставили безнадежный диагноз. А Шихин прощался со своими бумажками, и все сильнее охватывало его чувство освобождения. И декабрьские снежинки освобожденно проносились за темными окнами, и освобожденно хлопала форточка на ветру, и красный трамвай, пересекая площадь, скрежетал колесами пронзительно и освобожденно.

Шихину в лицо дул легкий ветерок новой жизни, и в душе его росла тревога, но в ней не было безнадежности, нет. И запуская очередной бумажный комок в железную корзину, а в этом городе очень многое было железным, чугунным, кованым и литым, он запускал его в бабий лик Прутайсова, в мудрую физиономию Нефтодьева, в гордо вскинутую умненькую мордочку Тхорика, который все делал настолько солидно и обстоятельно, что смотреть на него без смеха не было никакой возможности. Всю жизнь Тхорик боролся с паясничаньем, и до сих пор любые шутки над государством, его службами, над его героями, жертвами, скоморохами, над его дураками, пройдохами и вождями он воспринимает так, будто смеются над ним, и очень переживает. Что делать, слишком уж он породнился с государством, слишком прикипел к нему, как приживалка к состоятельному родственнику.

– Да! – Шихин поднял голову. – А где Валуев? Его, кажется, не было на этом изумительном мероприятии?

– Уехал в командировку, – ответила Моросилова.

– Давно?

– Сегодня утром. Прутайсов отпустил. Очень просился. –

Иголина смеялась, но Шихин не обижался на нее, ему нравилось, когда она смеялась, улыбалась и вообще, когда она была на расстоянии прямой видимости. Ему нравилось почти все, связанное с Иголиной, но он впадал в беспокойство, когда видел воспаленный взгляд Прутайсова, устремленный на нее с устойчивостью прибора автоматического наведения артиллерийских орудий.

– Он же никуда не собирался, – пробормотал Шихин, охваченный горьким прозрением.

– Валуев уехал, когда узнал, что будет редколлегия. Вы же друзья! – Иголина опять рассмеялась. – Против тебя он выступить не мог, поддержать тоже... было бы некстати. Очень грамотно поступил. Остался твоим другом и не позволил Прутайсову усомниться в себе. А редактору нужно было единогласие. И он его получил.

– Разумно, – кивнул Шихин. – Да! – Он повернулся к Моросиловой. – Что ты там говорила о моей политической непочтительности? Это как понимать?

– Митя! Ну ведь надо было что-то сказать этим болванам! Иначе они не отвяжутся, ты же их знаешь! – Моросилова обратила на Шихина свой лучистый взор, полный неподдельного смятения. – Мне так жаль, что ты уходишь от нас, Митя!

– Что делать, – вздохнул Шихин, боясь оскорбить Моросилову нечувкостью. – Мне тоже жаль... Но, может быть, все к лучшему.

– О, если бы было именно так! Как бы мне этого хотелось!

– И мне тоже, – ответил Шихин, маясь необходимостью произносить столь трепетные слова. Ответил и опять вздохнул, стараясь, чтобы Моросилова услышала его вздох и поняла, как он ценит ее сочувствие. И бросил в корзину очередной комок из замыслов, горений и неуместных своих устремлений.

– Не дрейфь, Митяй! – воскликнула Игонина, сверкнув очами. – Все к лучшему, все к лучшему! – Она выглянула в коридор и поплотнее закрыла дверь. – Черт подери! Я бы, кажется, сама ушла отсюда к едреной матери! Тебе еще повезло, Митяй, что ты вовремя смотался из этой помойки! Помяни мое слово – мы встретимся, мы обязательно встретимся, и тебе будет смешно вспоминать эту дерьмовую редколлегию, этих недоумков, этих бездарных приспособленцев!

– Ну, ребята... это... только благодаря вам... только с вашей помощью мне удалось уйти... и избежать...

– Ты, Митяй, всегда можешь на нас рассчитывать! Надейся на нас, Митяй!

– Спасибо, ребята! Вы – настоящие друзья...

– Как нам будет тебя не доставать! – чуть не плача проговорила Моросилова. – Ты не представляешь, Митя, ты не представляешь... – Она замолчала, доверив остальные свои мысли и чувства устремленному на Шихина голубовато-мерцающему взгляду.

– Ничего, вы справитесь. Я верю в вас.

– Спасибо, Митя. Давайте будем помнить друг о друге и

никогда не забывать, а?

– Давайте, – охотно подхватил Шихин, поскольку такое согласие ни к чему его не обязывало. – Это очень полезно – помнить и не забывать.

– Митяй! – воскликнула Игонина, спрыгивая с подоконника, на котором она сидела весьма соблазнительно, и Шихин это видел, несмотря на бумаги, на корзину, несмотря на свое огорчение, видел, злодей, все видел. И коленки, и локотки, и ту нестерпимую линию, которая от мочки уха, из-под темных волос шла вниз, постепенно переходя в плечо, обтянутое тонким свитером. Видел все, что выступало, выпирало из-под свитера, а недостающее легко дорисовывал, дополнял и восстанавливал. По молодости это нетрудно, все мы прошли через это, разве нет? – Митяй! – воскликнула Игонина, спрыгивая с подоконника. – Как бы ты ко всему этому ни относился, но в магазине напротив продают болгарское вино в оплетенных бутылках. Тебе придется смотаться. Мы проголосовали за то, чтоб тебя вышибли, но это ни от чего не освобождает. Дуй, Митяй, за вином! Такова жизнь!

Вернувшись в отдел, Шихин с удивлением обнаружил, что его корзина пуста. Он осмотрел другие корзины – его родных бумажных комков нигде не было. Моросилова грустила, глядя на него тихо и светло, Игонина весело орала по телефону, пытаясь подвигнуть кого-то на трудовой подвиг – написать сто строк о субботнике на заводе металлургического оборудования. Больше никого в отделе не было, да и быть не

могло. Шихин лишь усмехнулся про себя, выяснять не стал. Вскоре его корзина опять наполнилась неосуществленными затеями, ненужными уже блокнотами, неотпечатанными фотопленками, снимками, которых никогда не увидят читатели «Офлажкованной юности» – все забываю название этой паршивой газетенки, сюсюкающей, восторженной и лживой, которая лезла в душу и трусила, призывала и трусила и, напечатав однажды по оплошности шихинский фельетон, тут же наделала в штанишки, кинулась клеймить виновного, срамить его и гнать. А дай ей волю, дай другие времена, о! Собирали бы весь тираж и сожгли на нем автора, сожгли бы с праведным гневом и с государственностью во взоре.

Корзина с несостоявшимися замыслами...

Прошло немало времени, а она до сих пор у Шихина перед глазами – сплетенная из ржавой проволоки, перекошенная, заваливающаяся от каждого комка бумаги. Корзина покорно принимала недописанные очерки во славу передовиков производства, питалась графоманскими стихами, черновиками ликующих рапортов, поглощала резанные фельетоны о высокопоставленных героях. Успевали, успевали они позвонить куда надо, до Самого добирались, а уж оттуда спускали Прутайсову звонки с ласковыми предостережениями и добрыми советами. Только из-за того, что Шихина никто не принимал всерьез, и проскочили на газетную страницу его «Питекантропы», но это стоило ему места в газете, нескольких потерянных лет, горьких раздумий о смысле жизни. Од-

нако утешало то, что успел он кое-кому подмочить карьеру, остановить продвижение в распорядители судеб. Сумел все-таки напакостить, шалопут голубоглазый.

Ну ладно, сбегал Шихин за вином, выпил с друзьями, которые недавно столь дружно проголосовали за его изгнание, и отправился домой. Игонина и Моросилова, раскрасневшиеся от выпитого и потому необыкновенно привлекательные, видели из окна четвертого этажа, как Шихин вышел из подъезда и, запахнувшись в серое пальтецо, надвинув берет на лоб, сунув руки в карманы, зашагал через необъятную площадь. В этот сумеречный час не было на ней ни единого человека, только ветер гнал поземку, трепал шихинские штаны, гудел в трамвайных проводах. По самой середине площадь пересекали трамвайные рельсы, и пока Шихин приближался к ним, пронеслись, роняя искры, два красных трамвая – освещенные изнутри, заиндевелившие, с темными контурами пассажиров. Один прогрохотал направо, другой – навстречу ему, налево. Шихин посмотрел вслед одному, другому и зашагал дальше. И вскоре скрылся в просторах необъятной площади. А девушки, склонившись на подоконник, тут же забыли о нем, заговорили о вещах более приятных и насущных. Они были молоды, красивы, и тягостные раздумья не задерживались в их очаровательных головках.

А Шихин, Шихин никогда больше не поднимется на четвертый этаж этого стылого здания и не войдет в редакцию «Моложавого стяга».

Моросилову он встретит лет через десять в Ялте, на набережной, душным вечером. Не удержалась и она в той газете, уехала и увезла в другие города зовущую свою походку, лучистый взгляд и непреходящую грусть по поводу несовершенств мира. Судьба ее затерялась среди сотен газет средней полосы России, и найти Моросилову вряд ли возможно, тем более что, как слышал Автор, фамилия у нее несколько раз менялась и каждый раз на совершенно неожиданную, а однажды даже непотребную. Она, как и прежде, выступает на собраниях, а если кого вышибают, очень огорчается, переживает прямо до слез и никогда не забывает пожелать вышибленному скорейшего исправления, желает ему найти свое место в жизни, свое призвание, чтобы приносить как можно больше пользы.

Шихин и Моросилова обрадовались друг другу, бросились в объятия, немного поболтали о старых временах, потом заскучали и разошлись. У Моросиловой осталась прежняя поющая походка, печальный голубой взгляд и насморк, непреходящий насморк, который даже здесь, на Южном берегу Крыма, не отпускал ни на один день. Пока она разговаривала с Шихиным, на углу ее нетерпеливо ждал летчик с Камчатки, заслуживший эту поездку рискованными полетами и почтительным отношением к начальству. Он чуть раздраженно похлопывал по ноге прутиком, и от его зеленой штанины отлетала легкая, почти невидимая пыль. Уходя, Моросилова оглянулась на Шихина, и в глазах ее он уви-

дел знакомую грусть расставания. Она махнула ему рукой – простой, трогательный взмах, от которого у Шихина могло бы разорваться сердце, будь он хоть немного влюблен в Моросилову. Она крикнула: «Счастливо!», и навсегда в нем остался этот ее вскрик, словно от боли. А летчик, не связанный с Шихиным прежней жизнью, медленно удалялся в сторону гостиницы «Ореанда». Вот Моросилова догнала его, летчик отставил в сторону локоть, Моросилова ухватилась, и они пошли рядом.

А с Игониной Шихин встретится только через пятнадцать лет, в Москве, на станции метро «Пушкинская». Игониная будет весела, в манто и с ридикюлем. «Ну ты даешь, Митяй! – воскликнет она прежним голосом. – Слышала, слышала, все про тебя знаю!» И исчезнет в вечерней московской толпе. К большому своему сожалению, Шихин так и не увидит ее коленок, но, судя по манто, они оставались в порядке. Впрочем, в Москве хорошие коленки редкость, поэтому, если судить только по манто, можно ошибиться.

У Игониной вначале дела пошли куда как хорошо, она стала расти административно и, как это ни огорчительно, слегка поправилась, однако коленки ее при этом нисколько не потеряли привлекательности, даже наоборот. Случилось так, что из-за этих коленок она и погорела – слишком много завертелось вокруг них событий, слишком много участников оказались замешанными, и уцелеть удалось не всем. Да-да, аморалка, как ни прискорбно произносить это слово. Но ни Ши-

хин, ни Автор не нашли в себе сил осудить Игонину, а если о чем и сожалеют по сей день, то лишь о том, что в той соблазнительной круговерти они оказались ни при чем. Жаль, очень жаль. Игониной пришлось поменять специальность, теперь она преподает, читает лекции на разные темы, отдавая предпочтение перестройке и ускорению демократизации в общественной жизни. Но иногда ей вспоминается бурная политическая молодость, и она, потрянув стариной, возьмет да и прочтет что-нибудь о Распутине, Родзянко, Романове. Естественно, с осуждением, но дело не в этом. Если бы вы видели, как при этом пылают ее щеки, горят глаза, как светятся эти... колени, будь они неладны!

Увидит Шихин однажды и Прутайсова. Это произошло в те времена, когда еще можно было невзначай остановиться у пивного ларька и, отстояв очередь в пять человек, взять кружку пива. Ныне количество ларьков уменьшилось в сотни раз, соответственно увеличились очереди, так что нетрудно вычислить, в каком примерно году они встретились. Так вот, отрывается Шихин от своей кружки и неожиданно видит устремленный на него глаз, плавающий над пивной пеной. «Узнаешь?» – спросил Прутайсов. «Узнаю», – ответил Шихин и только после этого понял – перед ним бывший редактор. Лицо Прутайсова стало еще обильнее, пошло складками, как у породистого пса, второй глаз так и не прозрел, несмотря на громадные успехи Святослава Николаевича Федорова. Пиджак на Прутайсове был тесноват, рубашке в ко-

рично-зеленую клетку недоставало нескольких пуговиц, но самая верхняя оказалась на месте и была застегнута. Прутайсову было душно, в седоватой щетине щеки нависали над воротником, но бывший редактор, видимо, полагал, что застегнутая верхняя пуговица подчеркивает достоинство. «Ну как, не посадили?» – спросил он. «Пока нет», – ответил Шихин. «Ну и ладно, и хорошо. А то могли...» – как бы для себя проговорил Прутайсов и больше не обронил ни слова. Молча допил пиво, вытер ладонью рот, подмигнул глазом, повернулся и ушел, помахивая пустоватым портфелем.

Глядя вслед удаляющейся грузной фигуре, Шихин никак не мог вспомнить – что же тогда, при увольнении, повергло его в такое горе? И газетенка-то была никудышная, осторожная и почтительная, печатала какие-то производственные сводки, сообщала о сверхплановых килограммах, километрах, кубометрах и была скорее вестником соревнования металлургических гигантов, нежели газетой в полном смысле слова...

Взяв еще одну кружку пива и вернувшись к высокому круглому столику, заваленному рыбьей шелухой, Шихин подумал, что тогда, наверно, все получилось не самым худшим образом – Прутайсов не стал для него выдающимся мыслителем, Игониная и Моросилова не затмили остальное человечество, Нефтодьев не заразил опасливостью и подозрительностью. И от воробышка своего, от Тхорика, он тоже спасся, а ведь тот действительно мог отучить Шихина паясни-

чать, а это уже было бы самым страшным. Ныне Тхорик, или как там его, говорят, далеко залетел, в теплых странах обитает, заморские зернышки поклевывает. Правда, какашечки роняет, как и прежде. Крепитесь, крепитесь, а потом возьмет да и уронит. И до того, сукин сын, наловчился, что ни одна какашечка зря не пропадает, обязательно в кого-нибудь угодит. И все, тот человек уже больше не жилец – начинают к нему присматриваться, прислушиваться, принохиваться, обязательно кто-нибудь на него кулаками постучит, ногами потопает, пальцем погрозит – в общем, усомнится. И все, конец человеку. Нет его. А там ищи-свищи – чья какашечка ему на голову свалилась, кто ее изготовил своим организмом, с какой целью уронил, в него ли метил или в кого еще...

Нет, уберегла Шихина судьба от всей этой напасти и нечисти, остался жив. А ведь не все уцелели, не все. Хотя многим тогда казалось, что куда как хороша жизнь наладилась – хвалил Прутайсов, здоровался Тхорик, Игонина одаривала шалой улыбкой, Моросилова мерцала вслед глазами, а на встречу шла так влекуще, так призывно и столь на многое готовой, что... А Нефтодьев кивал головой и делился мыслями. А за заметки на сто строк Прутайсов платил трешку, а то и две. Это казалось счастьем, успехом, победой на все времена...

Шихин допил пиво, взглянул вдоль улицы, куда все еще удалялся Прутайсов, и зашагал в противоположную сторону. Через несколько минут он вышел к залитой закатным

солнцем маленькой горбатой площади, через которую, не торопясь, ковылял красный трамвай. Неужели это та самая площадь? Да, ребята, да! Та самая. А припомните-ка свои дворы, заборы, припомните свои трамваи... От них исходил звон пронзенного насквозь пространства, у них из-под колес летели искры, на поворотах они закладывали такие виражи, что дух перехватывало! А сейчас... Они кажутся развалюхами, хотя работники трамвайного управления и утверждают, что скорости их растут, как и вместимость, долговечность, а с точки зрения экологии им вообще цены нет!

Проводил Шихин взглядом трамвай и... И вдруг вспомнил, увидел себя здесь же – той зимой, тем декабрьским вечером, на этом асфальте, подернутом голубоватой поземкой...

В сером берете и осеннем пальто выше колен, согнувшись от ветра, уходил Шихин в темноту бесконечной площади, к светящимся окнам на противоположной стороне, а потом узкими ночными переулками пробивался к набережной. Здесь ветер был сильнее, а поземка на льду замерзшей реки в свете редких фонарей вызывала озноб. И было тогда Шихину чертовски паршиво. Если откровенно, то он даже всплакнул, что случалось с ним чрезвычайно редко.

Так сильно его еще не били.

И вот так легко, мимоходом, с улыбками, тостами и подбадриваниями его еще не предавали. Можно, конечно, при-

кинуться дураком и сделать вид, что ничего страшного не произошло, а тебе на все наплевать. Можно сделать вид, что не замечаешь ни трусости, ни подлости, поскольку они вынужденные, но... Но они всегда вынужденные. Можно не придавать всему слишком большого значения, опять же не злодеи какие вокруг, а твои же друзья так вот необычно проявили свое внимание и заботу. Можно...

Но если все понимаешь и никого не оправдываешь? Тогда можно и заплакать. От досады, бессилия, обиды. А если еще дует зимний ветер, снежинки тают на твоих щеках и рядом никого нет, то кто удержится...

Когда Шихин пришел в детский сад, детей уже разобрали, и он некоторое время молча стоял, прислонившись к двери и наблюдая сквозь щель в занавеске за своим дитем – в очках, в дареном платье с чьего-то выросшего плеча, в босоножках, к которым он сам недавно приклеивал подошву. Катя расставляла по казенным детсадовским полкам разбросанных кукол, сносила в угол пластмассовые лопатки и ведра. Это была обычная ее вечерняя обязанность. Так уж случилось, что Шихин частенько приходил за ней последним. Он покорно выслушивал ворчание воспитательницы, вынужденной торчать лишних пятнадцать минут из-за одной только Кати, молча одевал ее, а Катя молча поворачивалась, поднимая голову, чтоб ему удобнее было застегнуть пуговицу под подбородком, и все это время искоса поглядывала на отца, пытаясь понять его настроение.

– Пораньше надо приходиться, папаша! – услышал Шихин голос из глубины комнаты.

– Шести еще нет.

– Мало ли что! А ребенок один остался. Это вредно.

– А шести еще нет. Я могу не забирать ее до половины седьмого.

– Она плачет, когда остается одна.

– Значит, ее надо утешить.

– Вот и утешайте! – с непонятной злостью проговорила воспитательница.

– Вот и утешаю, – проворчал Шихин, застегивая на Кате пальто. Куцее, с коротковатыми рукавами, облезлым воротником – третий ребенок вырастал в этом пальто.

– Какая невоспитанность! – продолжал скрипеть голос из-за шкафа. – Так разговаривать с воспитателем! А еще в газете работает!

– Уже не работаю. Выгнали.

– Неужели? – Воспитательница вышла наконец на свет и, кажется, боялась поверить в счастливую новость.

Она оказалась женщиной не старой еще, мощного сложения, с алыми губами и со столь замысловато собранными на затылке волосами, что невольно при взгляде на нее приходило множество мыслей. Думалось, например, о том, что для такой прически не менее трех часов ей пришлось маяться перед зеркалом за шкафом, пока дети воспитывались сами по себе среди сломанных совков, обезглавленных кукол

и комков пластилина, в котором застряли оборванные пуговицы, шарики драже, обломленные грифели карандашей. Возникало подозрение, что воспитательница в душе гораздо моложе, чем кажется, что прическа эта – не просто украшение, а последняя надежда и отчаянная попытка. Мелькнула в непочтительной голове Шихина и мыслишка о том, что, очевидно, через минуту-вторую на детсад нагрянет киногоруппа, воспитательница предупреждена и готова давать интервью для программы «Время» о подготовке граждан к подвигам и свершениям.

– Видите, мне и вас удалось утешить, – улыбнулся Шихин. – Много ли надо простому человеку... Сообщи о себе какую-нибудь пакость – и он счастлив.

– Ну почему же! Я вам очень сочувствую! Как вы можете так думать! – Несмотря на горестные интонации, Шихин просто не мог не услышать в голосе глубокого удовлетворения. Теперь собственная судьба не будет казаться воспитательнице столь беспросветной.

– Я уже не думаю. Мне это ни к чему. Отдумался.

Шихин и Катя постояли на крыльце, привыкая к темноте, ветру и снегу. Уже совсем стемнело, и только на фоне окон можно было увидеть, как валит снег и как он несется вдоль улиц.

– Я ничего не вижу, – сказала Катя.

– Это не беда, – ответил Шихин. – Мне хуже – я ничего не понимаю. Представляешь?

– Давай так – ты будешь смотреть вперед, а я буду все понимать, а? Договорились?

– Не возражаю.

Взяв в руку теплую ладонь Кати, Шихин зашагал к девятиэтажной громаде. Там, на самом верхнем, девятом этаже занимал он со своим семейством комнату в шестнадцать квадратных метров. Эту комнату, или, скажем, эту квартиру, получила жена Шихина, Валентина, от какой-то невообразимой конторы, которая занималась художественной самодеятельностью, контролировала качество продукции местной промышленности и отвечала на письма и жалобы трудящихся по поводу коммунальных несправедливостей.

Много лет прошло с тех пор, Шихин сменил берет на шляпу, потом долгое время отдавал предпочтение кепке, снова вернулся к берету; Катя стала взрослой женщиной, носит собственные платья, ходит без очков, в них отпала надобность; живут Шихины под Москвой, на пятом этаже, купили машину, вдребезги разбились на ней, завели еще двух дочек... Но стоит, стоит у него перед глазами это возвращение домой темным зимним вечером после того, как вышибли его из газеты за паясничанье и непочтительность. Запомнился и встречный ветер, насыщенный снегом, набережная, ресторан «Поплавок», темнеющий громадной бочкой среди льда и торосов, новый мост с движущимися огнями машин... И он сам в коротком пальто с поднятым воротником тащит за руку своего разнесчастного очкарика. Очки у Кати залепле-

ны снегом, лицо сморщено от ветра, тонкие колготы продуваются насквозь, на голове – неизвестно откуда взявшаяся вязаная шапка с длинным, как у гнома, верхом и помпоном на конце...

Нет, она нисколько не напоминала тогда высокую красивую женщину, с которой Автор как-то встретил Шихина в Столешниковом переулке. Это был тот самый год, когда Катя закончила художественное училище и стала дипломированным знатоком народных промыслов России, когда у нее состоялась выставка живописных работ и она пребывала в тревожной и сумбурной переписке со штурманом, который водил теплоходы не то по Оби, не то по Иртышу. Она как раз готовилась поступать в Суриковское училище, а Шихин только вернулся из Греции, где он десять дней пил вино, шатался по улицам, толкался в сувенирных лавках, любовался Парфеноном и озадаченно рассматривал гречанок, не находя в них ничего общего с Афродитой – они больше походили на цыганок, которых он видел у Белорусского вокзала и в подземном переходе у площади Пушкина. А Катя шла рядом с этюдником на плече, охотно смеялась, и Шихин смеялся – оба загорелые, освещенные солнцем, и по всему было видно, что дела у них идут не очень плохо или же они просто умеют держать себя в руках.

Но это будет не скоро, так не скоро, что может вообще не произойти и все ограничится лишь авторским предвидением. А пока все еще тянется тот вечер, наполненный сне-

гом, обидой и унижением, и идет по бесконечной набережной Шихин, и плетется за ним мужественное неплаксивое дите, которое уже поняло, что обязано быть мужественным и неплаксивым, чтобы выжить. И оно выжило.

Войдя в дом, Шихин втиснулся с Катей в исцарапанную, изрисованную кабину лифта, поднялся на девятый этаж, вышел и захлопнул за собой тяжелую, как у сейфа, железную дверь. В квартире было темно, пусто и, если уж откровенно, несколько голодно.

В хорошую погоду с девятого этажа открывался вид на большую, просторную реку, на ее мосты, баржи и пристани, на ее пляжи, моторные лодки, катера рыбинспекции, вид на уже упомянутый ресторан «Поплавок», на дома городского начальства, отличавшиеся нездешней добротностью рядом с блочными сооружениями для простых граждан. Но ничего этого Шихин не видел, поскольку его окна выходили в противоположную сторону – на корпуса металлургических гигантов, которыми, как утверждал «Юный вымпел», или как там его, гордился не только город и каждый житель, гордилось и государство. В этой стороне заходило солнце, и закаты нравились Шихину странным смешением природного явления с делом рук человеческих. Испарения жидкого металла подсвечивались красным солнцем, прямо на глазах опускавшимся в доменные и мартеновские печи, сверкали бесчисленные рельсы заводских путей, из кирпичных и железных труб било пламя, и трубы эти, будто разноцветные факелы,

полюхали в желтовато-фиолетовом небе. Солнце постепенно исчезало, разлитое на заготовки, и жидкие его остатки долго еще плескались и остывали в желобах, освещая сполохами сумрачные, красноватые от руды печи. Запах кипящего чугуна, сгоревшего угля, раскаленных газов постоянно ощущался в городе независимо от того, в какую сторону и с какой силой дул ветер.

В тот давний печальный вечер не было ни заводов, ни сполохов. Шихин увидел за окном лишь темноту и заснеженный жестяной карниз. Он отряхнул от снега освеженное ветром пальто, которое за день насквозь пропитывалось в редакции сигаретным дымом, встряхнул берет, раздел Катю, стоявшую в полной беспомощности. Потом пошел на кухню, поставил на плиту чайник, включил газ, заглянул в холодильник и тут же захлопнул его с досадой, будто по собственной оплошности сделал пустую работу.

Не будем подробно описывать этот вечер. У каждого из нас бывали такие вечера, и все они похожи. Шихин бродил из угла в угол, вздыхал, прижавшись лбом к холодному стеклу, смотрел в ночь, на редкие городские огни, бесцельно брел на кухню, но, издали увидев ненавистный холодильник, возвращался в комнату. Катя пила чай, потом рассаживала кукол и играла с ними в детский сад – покрикивала, грозила наказанием, обещала все рассказать родителям. Шихин рассеянно слушал ее наставления куклам и понимал, что ничего не может изменить, никак не может вмешаться в это обще-

государственное воспитание.

Пришла жена. Валентина. Румяная с мороза, радостная, в серой шубке с поясом, с авоськой, в которой Катя тут же высмотрела пакеты молока и хлеб.

– Ты что? – спросила она, чутко уловив настроение мужа.

– А что? Ничего.

– Какой-то ты не такой, а?

– Знаешь... Похоже, меня из газеты вышибли.

– Все-таки вышибли... Ну и правильно сделали.

– Это почему же? – обиделся Шихин.

– Нечего тебе там делать.

– Ну, ты даешь!

– Пусть ковыряются, тебе-то что! – Валя отличалась трезвостью мышления и умением сразу оценить суть, отмечая все наслоения из самолюбия, лукавства, отвлекающих подробностей. – Гори они все синим огнем!

– Знаешь, за что они меня шуранули?

– Понятия не имею, – донесся голос Вали из кухни. – Какая разница! Они могли выгнать тебя за то, что Катя носит очки, за то, что ты не подписался на «Флагоносца», или как там вы называете эту газету, за то, что ты подписался на нее трижды, за то, что фельетон назвал «Питекантропы», а не назвал «Неандертальцы»... Все это чепуха. Иди чай пить.

За чаем они обсудили происшедшее, включая прощальные тосты, срочное бегство Валуева в командировку, осчастливленную неожиданной вестью воспитательницу – нам нет

надобности воспроизводить весь разговор. Как это обычно бывает, они повторялись, по несколько раз возвращаясь к волнующим моментам, и за это время поужинали, помыли посуду, уложили Катю спать. Потом позвонила веселая Иго-нина, потом грустная Моросилова. Обе заверили Шихина, что ему крепко повезло, что они страшно завидуют его свободе и независимости, тому, что ему не нужно завтра идти в редакцию, в эту постылую контору, вызванивать, выбивать, выпрашивать у заводских диспетчеров производственные успехи, случившиеся за ночь, тому, что он не обязан сдавать эту унижительную обязательку – Прутайсов высчитал, что газета сможет выходить только в том случае, если сотрудники ежедневно будут класть на стол по двести строк каждый. Шихин уныло благодарил, а сам думал, что и в самом деле тягостно каждый божий день сдавать двести победных строк.

Ну ладно, хватит об этом. В конце концов, Автор затеял вовсе не производственный роман. Это повествование о личной жизни героев, об их маленьких, невидимых миру горестях и радостях, об их отчаянной попытке сохранить в себе какие-то крохи достоинства, вырастить дите, и чтоб не все в нем было растоптано, чтоб хоть слабые ростки совестливости, порядочности оставались в этом бедном очкарике, посапывающем на диване и все еще вздрагивающем от окриков любимой воспитательницы.

И, наконец, поздним вечером, в полной темноте, уже,

простите, в постели, Валя произнесла слова, перевернувшие жизнь Шихина и наше повествование.

– В этом городе нам больше делать нечего.

– Почему? – спросил Шихин. – Есть телевидение, радио, другие газеты.

– Ты еще не наелся этой? Тебя нигде не возьмут. Ты меченый. Тебя выгнал не Прутайсов, тебя выгнал... Порядок. Будем перебираться в Москву.

– Ну что ж, – согласился Шихин. – Тоже, говорят, город ничего.

– С завтрашнего дня начнем разменивать квартиру. Авось кто-нибудь соблазнится нашей берлогой.

– В Москву так в Москву, – проговорил Шихин, засыпая.

И провалившись в сон, снова оказался на заседании редколлегии. Но сейчас редактор выглядел сущим чудищем – единственный глаз его сверкал посередине лба, был Прутайсов без одежд, сплошь заросший клочковатой рыжей шерстью, не такой густой, как у обезьян, но гораздо гуще, нежели мы привыкли видеть на людях. Челюсть у Прутайсова выступала вперед, а скошенный назад лоб слегка нависал над лицом. Но больше всего поразился Шихин не внешностью Прутайсова, а его поведением – на виду у всех членов редколлегии он бесстыдно домогался Игониной, прилаживаясь к ней то с одной стороны, то с другой, хватал волосатыми лапами ее голые коленки, и Игониная хохотала, не то пытаясь образумить редактора, не то делилась с ним своими опасе-

ниями:

– Володя, вокруг же люди, Володя...

– Где люди? – спрашивал Прутайсов, бешено водя красноватым глазом, пылающим первобытной страстью. – Не вижу никаких людей!

– А кто же они, Володя? – игриво спрашивала Игонина, отталкивая Прутайсова и одновременно подсаживаясь к нему на колени.

– Питекантропы! – ревел Прутайсов. – Питекантропы! Питекантропы!

Тхорик тоже был без привычных своих штанов и пиджака, но он оказался пернатым, на нем росли перья, причем какие-то рябые и несвежие, на голове прорезался красноватый гребень, в руках он держал красную папку с надписью в правом верхнем углу – «На подпись». Этой папкой Тхорик пытался прикрыть у Прутайсова одно место, которое откровеннее прочих говорило о его желании немедленно возобладать хохочущей Игониной. Тхорик следил за тем, чтобы даже в этом положении Прутайсов выглядел достойно, как и подобает редактору газеты «Молодящийся стяг».

Моросилова стояла одинокая, совершенно нагая, разве что на ногах были длинные черные чулки и новые блестящие калоши с алыми внутренностями. Ее никто не домогался, и она в задумчивости листала свой блокнот с записями о производственных достижениях металлургов, прокатчиков, шахтеров.

На шкафу, свесив ноги, пристроился Нефтодьев, и сидел он точь-в-точь в такой же позе, в какой скульптор Марк Матвеевич Антокольский изобразил Мефистофеля. Единственно, чем отличался Нефтодьев, – перстнем на большом пальце левой ноги. Перстень был громадным, выглядел потертым, покрывавшая его медь во многих местах слезла, и стало ясно, что он вовсе не золотой, а, скорее всего, алюминиевый, да и вместо драгоценного камня в него было вправлено куриное яйцо, правда раскрашенное, как на Пасху.

В самом углу дивана пристроилась Гусиевская. Шихин с удивлением увидел, что она не беременная, уже родила и, высвободив грудь размером с солдатский котелок, кормила младенца. Но когда Шихин подошел ближе, он с ужасом увидел, что в пеленках у Гусиевской лежит мордатый детина, к тому же небритый, а из одежды на нем был лишь замусоленный пиджак в клетку. Оторвавшись на секунду от груди, он крикнул, будто рюмку водки хлопнул, утер рот рукавом и, подмигнув Шихину, опять принял к соску.

Тут вдруг наступила тишина, и, оглянувшись, Шихин увидел, что Игониная уже не хохочет, обессиленно затихнув в мохнатых объятиях Прутайсова, а возле них стоит Тхорик, прикрывая красной папкой самое главное, что происходило в комнате. Но сам Тхорик с опасливым интересом заглянул за папку, и рябые перья на его спине тут же вздыбились и зашевелились. Шихин встретился с затуманенным взглядом Игониной, и она, с трудом, видимо, узнав его, прошептала:

— А, это ты, Митяй... Чего стоишь без дела... Дуй за вином... — добавила она совсем тихо, и Шихин увидел, как впились ее наманикюренные пальцы в ключья шерсти на спине Прутайсова. — Дуй за вином, Митяй, — простонала Игонина сквозь зубы. — Дуй за вином...

Прутайсов затих, устало прикрыв глаз, Тхорик махал папкой, отгоняя откуда-то налетевших мух, опять крикнул небритый младенец Гусиевской, со шкафа раздался мелкий смех Нефтодьева, расплющив нос, в окно заглядывал сбежавший в командировку Валуев...

«Как же это он... Ведь мы на девятом этаже», — подумал Шихин и проснулся, постепенно расставаясь с бесовскими видениями. Рядом лежала Валя, свернувшись калачиком. Он провел рукой по ее позвонкам, и жена замурлыкала, не просыпаясь. По ее ровному дыханию можно было догадаться, что если ей и снится сон, то куда нравственнее, нежели Шихину. Что-то заставило его подняться, и он подошел к окну, тускло светящемуся в темноте.

Небо на горизонте полыхало разноцветными зарницами — там разливали по ковшам не то остатки солнца, не то расплавленную луну. Шихин глянул вниз. Внимание его привлекла маленькая человеческая фигурка, четко выделявшаяся на свежем снегу у фонаря. Это был мужчина, и стоял он каким-то невероятным образом — одновременно и ссутулившись, и глядя вверх. Шихин был уверен, что мужчина видит его в темном окне, за шторами, потому что едва он обратил

на него свой взор, как тот призывно замахал руками, приглашая спуститься. И Шихин, ничуть этому не удивившись, кивнул, дескать, сейчас приду. Человечек, еле видимый с высоты девятого этажа, тут же успокоился, будто увидел его согласный кивок. Шихин прошел в прихожую, наскоро оделся, сунул босые ноги в домашние шлепанцы с поднятыми носками, не найдя в темноте своей беретки, натянул на голову вязаную шапку Кати и осторожно проскользнул за дверь. Чтобы не будить весь дом громяющим лифтом, бесшумно спустился по лестнице. Любой жилец, увидев его, был бы несказанно удивлен – в вязаной шапке с помпоном на конце, в шлепанцах, с длинным Валиным шарфом вокруг шеи – его концы болтались где-то у колен – Шихин неразлично походил на громадного гнома.

Во дворе его поджидал Нефтодьев.

– Привет, – сказал Шихин.

– Здравствуй, Митя, – ответил Нефтодьев каким-то тихим несовременным голосом.

Необычный наряд Шихина несколько его не удивил, он его даже не заметил. Сам Нефтодьев выглядел обеспокоенным, поминутно оглядывался, словно боялся кого-то, все стремился стать в тень от столба и наконец предложил войти в дом, а там сразу прошмыгнул в лифт, дождался Шихина, запутавшегося в концах шарфа, захлопнул дверь и нажал кнопку девятого этажа. Что-то заревело, взвыло, кабина рванулась вверх, но едва набрала скорость, едва оказалась где-

то между пятым и шестым этажом, Нефтодьев, злорадно хихикая, нажал красную кнопку «стоп». Лифт остановился.

– Ну вот, – удовлетворенно проговорил Нефтодьев со своей мефистофельской улыбкой, которую Шихин совсем недавно видел во сне, – здесь нас никто не подслушает.

– А что... Были попытки?

– Постоянно! – сразу посерьезнев, зловеще прошептал Нефтодьев. – Постоянно. Я их шкурой чувю. По запаху узнаю! По цвету!

– Кого? – осторожно спросил Шихин.

– А! Всех этих. – Нефтодьев неопределенно описал тощей ладошкой некий круг, что должно было, видимо, означать, что подслушивать могут со всех сторон, что враги оцепили его, офлажковали и только ждут одного неверного слова, движения, взгляда. – А ты что, не знал?

– Да как тебе сказать... Не придавал значения.

– Во! – Нефтодьев настораживающе погрозил указательным пальцем.

И Шихин вздрогнул, заметив то самое кольцо, которое видел во сне, только это было поменьше, и пасхальное яичко, оправленное в алюминий, тоже оказалось маленьким. Он никогда не видел у Нефтодьева этого кольца, и его охватило такое ощущение, будто сон продолжается.

– Слушай, Митя... Я рискую, но хочу предупредить... Ты должен быть осторожным, понял?

– Нет, – растерянно ответил Шихин.

– Нужно соблюдать осторожность не только в поступках и словах, это ерунда... Главное – осторожность в мыслях. Ни в коем случае, ни в трезвом состоянии, ни под хмельком, не позволяй себе думать что угодно, как угодно, о ком угодно... Понял? – Нефтодьев приблизил к Шихину мокрое от растаявшего снега лицо и уставился в него напряженным взглядом.

– Почему? – единственное, что нашелся спросить Шихин.

– Нельзя. Все записывается и подшивается. Ничто не исчезает без следа.

– И мысли?

– Особенно мысли. Все улавливается.

– И этот наш разговор?

– Нет, – хитренько засмеялся Нефтодьев. – Здесь железная кабина, они еще не научились ее просвечивать. Но в ней нельзя долго находиться, засекут. И мое отсутствие, и твое. Они сразу поймут, что мы встретились, что у нас сговор.

– И что будет?

– Бросятся искать. И найдут. Я уже пробовал. Специально не брал билет, чтобы не распознали, забирался в железнодорожный вагон и ехал. Сутки ехал, двое... И находили. Понял? Ну, ладно, я тебя предупредил. Записи сжечь. И снимки. Особенно негативы, это очень опасно. Да, письма. И телефонные номера, адреса, фамилии – все уничтожить. Они собираются с силами. Они всех берут на учет.

– И меня взяли? – с опаской спросил Шихин.

– Наверняка. Иначе я не был бы здесь.

– А как ты узнал об этом?

– Мир не без добрых людей, – загадочно произнес Нефтодьев. – В случае чего знаешь, где меня найти.

– Угу, – кивнул Шихин в полумраке лифта.

Нефтодьев нажал кнопку первого этажа, кабина задрожала от каких-то усилий, загудела и провалилась вниз. На первом этаже Нефтодьев прислушался.

– Пока, – проговорил он и, быстро открыв дверь, тенью выскользнул из дома.

Когда Шихин уже из окна своей комнаты выглянул во двор, внизу, под фонарем, он увидел Нефтодьева. Тот словно дожидался, когда Шихин поднимется к себе, словно хотел убедиться, что с ним ничего не случилось. Махнув рукой, он тут же пропал. Видимо, шагнул в темноту с освещенного круга.

Через много лет после этой ночи Автор встретил однажды Нефтодьева в родном городе, на проспекте Гагарина, недалеко от винного магазина. Увидев Автора, мгновенно узнав его, Нефтодьев перебежал на другую сторону улицы и прибавил шагу. Нет, не было на его лице всепонимающей и порочной улыбки дьявола, который, шутя и играючись, выдавал когда-то в меру смелые и безмерно почтительные идеи для «Моложавой юности». Убежал Нефтодьев, убежал вдоль проспекта, оглядываясь, виляя между прохожими и путая следы, словно спасаясь от погони. Ветер вышибал слезы из

его затравленных глаз, пыль и песок скрипели на его зубах, и, как флаг разбитого полководца, полоскались штанины на тощих ногах Нефтодьева. А убегал он, увидев в руках Автора небольшой чемоданчик, в котором вполне мог поместиться магнитофон, записывающий не только слова, но и неосторожно возникшие мысли, срамные желания, несвойственные обществу мечты, страсти и даже недостаточно почитительные идеи.

О Нефтодьеве надо сказать подробнее, поскольку и события, с ним происшедшие, довольно необычны, и в дальнейшем повествовании время от времени он намерен возникать в качестве неопасной нечистой силы. Дело в том, что вскорости после описанной редколлегии Нефтодьев... как бы это сказать деликатнее... слегка тронулся умом. Да, в самом прямом и полном смысле слова. Причем страхи, которые его посещали, были далеко не случайны, они стали как бы продолжением страхов, преследовавших его еще в здоровой и разумной жизни. Нефтодьеву повсюду мерещились враги, которые подслушивали, записывали его слова, окружали доносчиками, а те выпытывали, выпытывали разные мысли, выпрашивали, как он к чему относится, в чем сомневается, чем огорчается. А потом вроде повадились всюду его фотографировать. С кем бы он ни встретился, с кем бы стакан вина ни выпил, на какую бы игонинскую коленку взгляд ни бросил – тут же раздавался перещелк фотоаппаратов. Даже дома, чтобы поговорить с женой, миловидной,

между прочим, женщиной, Нефтодьев вынужден был на полную мощность пускать воду из крана, включать репродуктор да еще ставить пластинку с записями Шаляпина. Только в таких условиях он мог решить с женой, кому идти в очередь за картошкой, утрясти вопрос с прачечной, прикинуть, у кого перехватить десятку до зарплаты, предложить ей под покровом ночи вместе забраться под одеяло, чтобы откликнуться на те невнятные голоса, которые время от времени звучали в нем призывно и нежно.

Прошло совсем немного времени, и жена поняла, что сама потихоньку трогается умом. И тогда она ушла от Нефтодьева, оставив его с включенным репродуктором, беспрестанно рассказывающим о перестройке в промышленности и сельском хозяйстве, с открытым краном, из которого бешено била струя воды, с Федором Ивановичем, громко и с подъемом исполняющим «Из-за острова на стрежень». В песне рассказывалось о свободолюбивом волжском разбойнике Степане Тимофеевиче Разине, известном тем, что как-то по пьянке утопил в Волге красавицу, чужеземку, совсем еще юную, можно сказать ребенка, предварительно надругавшись над ней. Но проделал он это с такой твердостью и уверенностью, что вот уже триста лет люди поют, поют и успокоиться не могут. Нефтодьеву было жаль девочку, которую изнасиловал и убил атаман со своей братвой. Уже одно это обстоятельство вынудило Автора заподозрить – а может, Нефтодьев вовсе и не трогался умом, может, его и на самом деле подслушивали

да записывали, а? Чего не бывает! А что, очень даже похоже – взяли и записали, взяли и сфотографировали, уж если он действительно мыслью своею проникал туда, куда проникать не положено... И никакой беды в этом нет, подумаешь, все мы через это прошли и ничего, стерпели, переморгали.

Скажите, нежный какой!

Но нет, наверно, все-таки тронулся. Искать спасение в шуме унитазов и грохоте радостных вестей из репродукторов – последнее дело, нормальный человек на это никогда не пойдет. Если наша общественная и умственная жизнь проходит в основном на кухне, то к кранам наверняка что-то подсоединено, а поскольку именно возле унитаза мы делимся самым заветным с товарищем и другом, именно на унитазе приходят к нам самые смелые и дерзновенные помыслы, то, конечно же, доверяться ему нельзя. Нефтодьев тронулся умом не потому, что чувствовал себя в безопасности у гудящего унитаза, а как раз наоборот – потому что доверился унитазу. Этого делать нельзя ни в коем случае, если не хотите, чтобы вас записали, сфотографировали, просветили, а потом начали задавать всякие вопросы.

Как бы там ни было, Нефтодьев и поныне, невзирая на дозволенное вольнодумство, спускает воду по несколько раз во всех унитазах на своем жизненном пути. Он, простите, даже мочится, стараясь, чтобы это получалось с шумом, бульканьем и заглушающим разбрызгиванием струй, поскольку боится тишины, в тишине, дескать, легко просматриваются

мысли, особенно если в них крамола, если они опасны для общественного устройства. И не понять ему, бедолаге, что у него давно уже нечего записывать, что мысли его кончились, и, похоже, навсегда, что осталась лишь опасливость да горькое воспоминание о тех счастливых молодых временах, когда ему все было ясно в этом мире, все было просто и он ничегошеньки не боялся.

То, что от Нефтодьева ушла жена, увела с собой ребенка, не было самой большой бедой, беды посыпались позже, когда он в отчаянной попытке сделать свои мысли непригодными для прочтения, стал употреблять глушитель – красное болгарское вино, которым все мы тоже кое-что глушили в себе, еще как глушили. И улыбка Мефистофеля, каким того изобразил знаменитый скульптор, – тоже с острыми коленками, но без штанов, – возвращалась к Нефтодьеву лишь после стаканчика-второго. Ощущая путанность мыслей, он радовался, что оставил в дураках всех этих стукачей-слухачей. Они голову сломят в своих дубовых кабинетах, пытаясь состыковать рваные клочки его мыслей, пытаясь уличить его в чем-то противоправном и для государства небезопасном.

Но это все были цветочки.

Пришло время, когда Нефтодьев убедился раз и навсегда, что из горячего крана водопровода идет проявитель, а из холодного – закрепитель. И он гасил свет, включал красный фонарь, бросал в раковину чистые листы писчей бумаги и в зловещих красноватых сумерках видел возникающие на бе-

лом листе знаки. Что-то виделось ему в них, что-то открывалось, он становился нервным, выхватывал мокрые листы и, всмотревшись в них, тут же рвал на мелкие кусочки, ссыпал в унитаз и спускал воду. Нефтодьев не выходил из туалета, пока не убеждался, что все до единого клочка смыты водой и уже никакие силы не извлекут их из гулкой канализационной трубы, уходящей куда-то в вечность, откуда нет возврата.

После такой колдовской ночи он исчезал на несколько дней, появлялся неожиданно, даже лучше сказать, возникал, был рассеянным, долго с нечеловеческой пристальностью смотрел на Луну, стараясь, чтобы никто не застал его за этим занятием. Словно узнавая на ней знакомые пещеры, горные тропы, перевалы, он улыбался затаенно, поглядывая на окружающих его людей с превосходством, как человек, постигший нечто такое, чего остальные лишены. Нефтодьев шепотом произносил непонятные слова – не то заклинания, не то названия. На все попытки заговорить с ним, узнать, где он пропадал и как все это понимать, Нефтодьев замыкался, стремился уединиться, однако, оставив неприметную щель, продолжал наблюдать за людьми, от которых сам же только что скрылся.

Когда Автор рассказал об этом случае Аристарху, заглядывавшему иногда в художественную мастерскую Юрия Ивановича Рогозина в полуподвале на улице Правды, тот передернул плечами и заговорил о другом. Тогда я снова вернул разговор к Нефтодьеву.

– Не понимаю, что тебя волнует? – чуть раздраженно спросил Аристарх. – Ну, бывает человек на Луне, ну и что! Я сам недавно оттуда. У меня есть знакомая, тетя Нюра, кстати, ты ее знаешь, так она вообще отлучается...

– Подожди-подожди! – остановил я Аристарха и в самом деле разволновался. – Как на Луне? С американской экспедицией?

– При чем здесь американцы? Как только ему знак явится на бумаге – это вроде разрешения, приглашения, командировочного удостоверения, он тут же и отправляется. Хочешь, устрою? Ненадолго, правда, ну, сам понимаешь, день приезда – день отъезда... Это как турпоездка за рубеж... Проверка, собеседование, медицинское обследование, характеристики, заключение треугольника... Здесь даже проще. Хочешь?

– Конечно, было бы интересно...

– Я не спрашиваю, интересно ли тебе, я спрашиваю о другом – хочешь?

– А эта... тетя Нюра, она где бывает?

– У нее нет ограничений. Раньше были, но потом сняли. Главное, говорят, чтоб одевалась поприличнее и без кошелки являлась, а это для нее самое тяжелое – она всю жизнь с кошелкой по базарам шастала, кое-что подавали, на жизнь хватало.

– А кто снял ограничения?

– Слишком торопишься, – улыбнулся Аристарх, показав

железный передний зуб – настоящий зуб ему выбил хулиган в первый месяц работы Аристарха в милиции. – Так что?

– С удовольствием, но...

– Ты не отвечаешь на вопрос, – холодно сказал Аристарх. – Я не спрашиваю про твои или чьи-то там удовольствия. Я спрашиваю о другом – хочешь ли ты получить приглашение? Сам понимаешь, оно дает право на гостиницу, питание и так далее. Не исключено, что тебя кто-то примет, ответит на вопросы... Хочешь?

– Да, – наконец выдал я из себя, преодолев какое-то сопротивление.

– Договорились. Помни – передумать, отказаться, сослаться на другие важные дела ты уже не сможешь. Я включаю тебя в систему. Теперь ты будешь там в любом случае. Не исключена и принудительная доставка.

– А это... один?

– Можно хоть с Нефтодьевым, хоть с тетей Нюрой.

– Ну, все веселее...

– Как знаешь, – отстраненно проговорил Аристарх. – Но я бы не советовал.

– Возвращение обеспечено?

– Разумеется. Хотя известны случаи, когда... Но это очень редко. Требуется слишком уж невероятное стечение обстоятельств. Тебе вряд ли это грозит.

– Подожди, что значит «стечение обстоятельств»? Полнее ты не можешь сказать?

– Не могу.

– А как я узнаю, что мне уже можно, что пора и... вообще?

– Получишь знак. На твой балкон с верхних этажей упадет мятый лист бумаги. Всмотрись в него, и все поймешь. Или среди облаков что-то заметишь. Или человека встретишь с таким взглядом, что станет ясно... Или слово в толпе услышишь. Или вспомнишь такое, чего вспомнить в нормальной жизни никогда бы не смог...

– Например?

– Например, детей своих, которых никогда не было и не будет уже...

– Ну, так уж и не будет!

– Будут другие, – отрезал Аристарх. – И в тот же день встретишь Нефтодьева. Он сам к тебе подойдет.

– Послушай, а Нефтодьев...

– Хватит о нем. Жизнь предложила ему условия, которых он не вынес. Одни и те же поступки люди совершают и от силы, и от слабости. Когда за поступками сила, готовность рискнуть, пожертвовать – они восхищают. Когда на эти же поступки человека толкают отчаяние, страх, угодничество, корысть – это смешно. Твой Нефтодьев – слабак. Хотя человек он далеко не самый плохой.

Не будем смеяться над несчастным Нефтодьевым – все мы трогаемся рано или поздно и даже не замечаем, не подозреваем того, а беды свои и несчастья пытаемся объяснить записанными мыслями, неосторожными словами, шуточками,

в которых позволили себе раскрыться, сказать об истинном своем отношении к...

Остановись, Автор. Остановись, пока не поздно, если не хочешь, чтобы тебя постигла участь Нефтодьева. Скажи проще – всему виной непочтительность. И все. Этого вполне достаточно. Вот об этом и можешь немного поговорить, пока тебя не уличили в том, что ты тоже того...

О, непочтительность!

Нет более страшного недостатка в глазах твоего начальника, и не только ближайшего. Ты можешь быть груб и невежествен, ленив и бездарен, и даже если выяснится, что ты законченный подлец и многоразовая сволочь, твоя почтительность все окупит и возместит. Будь почтителен, мой тебе совет. И тогда ты сможешь воровать скрепки и гвозди, тащить с работы доски, электрические лампочки, мясо и мыло, отдаваться пьянству и блуду, можешь писать доносы или вообще ничего не делать – простится. И прощается, и будет прощаться. Ты сможешь даже дерзить начальству, но в таком случае дерзость должна являть собой высшую степень почтительности. К примеру, ты говоришь начальству с таким вызовом, оттянув нижнюю губу, оттопырив зад, выставив одну ногу вперед и легонько потопывая носком по паркету:

«Нет, так работать с вами я больше не могу!»

«Что так?» – изумляется начальство.

«Стоит мне о чем-нибудь подумать, а у вас уже все преду-

смотрено, все продумано и учтено! Это черт знает что!»

«Ну, так уж и все...» – зардеется начальство.

Так вот, наш герой, надежда наша и боль, Дмитрий Алексеевич Шихин, почтительностью не обладал. Лишен он был этого драгоценного качества, а потому жизнь его была полна досадных, как ему казалось, случайностей, глупых оплошностей, всяких обстоятельств, которые вмешивались в его судьбу пагубно и необратимо. Не почитал Шихин не только непосредственное свое начальство в лице Тхорика, но даже общепринятые светила, чьи портреты напечатаны в школьных учебниках, чьи портреты многие годы носили демонстранты, самозабвенно размахивая ими над головами и производя колебания воздуха над планетой, не вызывали в нем должного трепета и душевного смятения. О том же Михаиле Васильевиче Ломоносове он мог выразиться примерно так: «Ничего был мужик, и ученый приличный, и писал неплохо, и за себя постоять мог». И все. Будто о соседе по лестничной площадке речь шла. Согласимся – маловато для Михаила Васильевича. Мы как-то привыкли слова употреблять, ну, самые что ни на есть высокие, предельные, а то и запредельные, такие, чтоб на всем белом свете выше их, значительнее и не сыскать.

А истинно простые и ясные слова кажутся нам уже чуть ли не похабными, оскорбительными, они режут слух, будто мат какой, самый что ни на есть непотребный. Однако тут многих подстерегает неожиданность – какое бы слово вы ни

произнесли, обязательно сыщется слово еще почтительнее, возвышеннее и для слуха приятнее. Это как в математике – какое бы число вам в голову ни пришло, неизменно найдется число побольше вашего. Закон природы, тут никуда не деться. Потому и почтительность человеческая неисчерпаема, пределов она не имеет. Причем вовсе не обязательно почтительность эту проявлять исключительно к начальству, с почтением можно относиться и к самому себе, к достижениям нашего государства, к его дальней и ближней истории, к развивающимся странам, даже к тем, где пока еще, случается, правят людоеды. А впрочем, людоед – понятие широкое, так что вполне возможно, людоеды стоят во главе организаций и учреждений не только в Африке.

Знаю, многие ехидно улыбнутся наивности и невежеству Автора, решившего вот так запросто перебросить своего героя с берегов Днепра на берега Москвы-реки. Пусть сам попробует, пусть переберется.

Никакой наивности, ребята, никакого невежества.

Попробовал и перебрался.

Мы как-то забываем, что живем в демократическом государстве, в стране, где приняты прекрасные законы, где нас хранит лучшая в мире Конституция. То ли мы с вами получаем слишком мало доказательств всего этого, то ли доказательства, которые мы получаем, убеждают нас в чем-то другом, может быть, даже обратном, но забываем, забываем. Конечно, не везде действуют наши гуманные законы, не постоянно, не в полной мере, но добиться кое-чего можно. Можно. А то мы как-то уж очень охотно собственную робость, душевную лень, боязнь потерять задрипанного воробья, неспособность к малейшему риску, к святому и праведному гневу оправдываем суровыми ограничениями, бездушными параграфами, человеконенавистническими инструкциями.

Да, есть такие ограничения и инструкции. Есть.

Не будем лукавить.

Но не для того ли они существуют, чтобы их преодолевать на природе смелой и отчаянной! Кто-то из нас, конечно, погиб-

нет, наверняка многие растеряют свежесть и чистоту помыслов, превратятся в хитрых и слезливых кляузников. Но каждая маленькая победа над самым паршивеньким параграфом разве не приближает всех нас ко всеобщей радостной победе? Пусть она далеко, нам до нее не дожить, но наши дети, наши внуки... И потом, если не дождутся и они, разве борьба сама по себе не прекрасна! Чего не бывает – а вдруг! Выигрывают же люди в спортлото и в другие не менее замысловатые игры. Да и я сам, не далее как на прошлой неделе, выиграл полновесный трояк, поспорив с одним восторженным хмырем – достану ли я картошки в Одинцове или придется ехать в Москву. Я выиграл – пришлось ехать в Москву.

Так что вперед, дорогой товарищ!

Не будем подробно описывать последующие месяцы жизни Шихина. Это потребует слишком много времени, сил и страниц. Опустим. А полюбившихся нам членов редколлегии забудем. И все, что с ними произойдет, нам безразлично. Возможно, кто-нибудь другой найдет в себе силы рассказать о том, как возвысился Тхорик, как посадили Гусиевскую, как отовсюду выперли Прутайсова, – все это скучно. Нас ожидают другие события и другие герои, ради которых, собственно, Автор все это и затеял.

За несколько месяцев Шихин убедился, что рассказы о хороших заработках на разгрузке железнодорожных вагонов – чистая ложь. Может быть, ему крепко не везло, может, вагоны не те попадались или же расплачивались с ним не

самым честным образом, однако трешка в день получалась не всегда. Это, согласимся, маловато для жизни молодой семьи. За неделю он мог заработать на одну рубашку для себя, или на перчатки для Вали, или на ботинки для Кати. Попробовал ретушировать снимки для того стылого издательства, выпускающего производственные плакаты. Не пошло. Какая-то маленькая злобная бабенка по фамилии Змеюко решила, что он отнимает у нее кусок хлеба. Скорее всего, так это и было. И Шихину за ретушь ничего не заплатили, а он надеялся рублей на двадцать – двадцать пять. Поработал и в строительной организации, в отделе изысканий. Девяносто рублей дали. За месяц, который он мерз на мокром зимнем ветру.

Можно было бы перечислить еще кое-какие его заработки, но они ничего не добавят к нашему знанию Шихина и источников его существования. Как бы там ни было – жил. Каждое утро водил дите в сад, вечером забирал. В саду прониклись его бедами и разрешили сфотографировать детишек у новогодней елки, а снимки предложить родителям. Шихин за неделю заработал сто рублей и был счастлив. Как-то Валуев на день рождения позвал, соседи нагрянули с водкой и колбасой, сам напросился в гости...

А жена его, Валентина, в это время осаждала Москву. Мы запомнили ее румяной с мороза, с веселыми глазами, в короткой серой шубке. Когда человек пытается обменять однокомнатную квартиру на любую жилплощадь в Москве, вклю-

чая коммуналки, чердаки и подвалы, он невольно меняется и сам. Изменилась и Валя, не очень, но все же. Веселья в ней поубавилось, румянец тоже сделался слегка приглушенным. Конечно же, Шихины не писали в объявлениях, что окрестные заводы иногда пахнут не очень вкусно, что окна квартиры выходят отнюдь не на реку, что театр имени Горького, попросту говоря, прогорает, и только солдаты, которых вместо увольнения привозят сюда в закрытых автобусах, да победители соцсоревнований, награжденные бесплатными билетами, дают театру какое-никакое ощущение полезности в мире. В шихинских объявлениях кратко, но с достоинством говорилось: в двух шагах прекрасный драматический театр – имелись в виду колонны, парк в тылу здания, пруд, летняя эстрада, где постоянно выступали гипнотизеры и фокусники, собирая тысячи людей, жаждущих в искусственном сне проникнуться таинственностью жизни и бесконечностью ее проявлений. Не писали Шихины и о том, что в соседнем гастрономе обсчитывают даже тех, кто ничего не купил, что цены на рынке кусаются, как комары в тайге, – долго еще приходится почесываться да озираться по сторонам, что Днепр безнадежно зацвел и люди выходят из его волн зеленые, будто лешие какие, будто нетопыри или кикиморы болотные.

А москвичи к самой захудалой своей конуре относились так, будто отдавали невесть что, и это, в общем-то, понятно. В придачу к конуре они давали магазин на углу, где можно

купить кусок колбасы, гастроном, где бывал кефир, они лишились овощной лавки, в которой частенько случалась капуста, а потратив денек-второй, могли купить обувь дитю, портфель, а то и школьную форму. И потому никакая жилая площадь в Москве не обменивалась на однокомнатную квартиру в Днепропетровске – со всеми удобствами, у реки, в центре города, с совмещенным санузлом, с лоджией и телефоном, рядом театр и рынок, прямо на воде ресторан «Поплавок», тут же почта, выставочный зал.

О мусоропроводе Шихины не писали. Упоминали, что есть, но в подробности не вдавались, и правильно делали. Что происходило с этой бетонной трубой, пронизывающей дом от самого подвала, и черной дырой, устремляющейся в космическое пространство, как удавалось жителям в маленькие окошки проталкивать предметы, во много раз превосходящие размеры самой трубы, – оставалось загадкой. Из забитого мусоропровода газосварщики, разрезая на части, вытаскивали детские коляски, искореженные раскладушки, на которые уже никто никогда не сможет прилечь, стиральные машины без внутренностей, внутренности без машин, скелеты аквариумов, велосипедные колеса, какие-то странные сооружения, понять смысл и назначение которых было невозможно. Сантехники как-то неделю потратили, высвобождая из мусоропровода корпус «Запорожца». Самое удивительное, что при нем оказался мотор, более того, он завелся, и тут же нашлись желающие приобрести автомобиль в

личное пользование. Возникла затяжная тяжба – на «Запорожец» претендовали сантехники, принявшие участие в его освобождении, жители седьмого этажа, где он застрял, да и руководство домоуправления не пожелало остаться в стороне. Но в конце концов все ссоры и многостраничные анонимки оказались лишними. Выяснилось, что автомобиль похищен, у него есть хозяин, некий Собко, геодезист, он живет в соседнем Запорожье с женой и сыном и жаждет снова соединить свою судьбу с пожарно-красным чудищем.

Если бы в мусоропроводе завелось какое-нибудь разумное существо, оно легко представило бы себе весь ход развития нашей цивилизации, наши духовные, нравственные, материальные ценности, у него была бы возможность следить даже за модой – что устарело, что отошло, за чем в очередях стоят, оно бы поняло, как легко люди отказываются от того, что еще вчера казалось им смыслом жизни.

Впрочем, это касается не только мусоропровода. Соседняя свалка, стихийно возникшая на месте сгоревшего частного дома, поговаривали, что он был законодательно подожжен осенней ночью для пресечения частнособственнических устремлений, так вот, свалка, образовавшаяся на этом месте, тоже позволяла судить о некоторых нравственных смещениях общества в красную часть спектра, что, как известно, происходит при очень быстром удалении от общепринятых норм человеческого существования. Шихин мог бы немало рассказать об этой свалке, он обожал свалки и не

пренебрег еще ни одной из встретившихся ему на жизненном пути. Однажды среди мусора нашел он все восемьдесят шесть томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона, причем в прекрасном состоянии, просто в отличном состоянии, будто все эти годы простояли они в дубовом шкафу за толстыми стеклами, что вовсе не исключено, несмотря на грандиозные преобразования, постигшие страну. Это было время упадка. Когда энциклопедии оказываются на свалке, тут уж никаких сомнений быть не может – развал и угасание. А как-то среди пустых консервных банок, причудливых водочных бутылок, изготовленных в виде шишек, фляжек, штофиков, древесных стволов, кремлевских башен, только пей, дорогой товарищ, только пей, среди дохлых кошек и презервативов отечественного производства – неважного, между прочим, качества, что стало причиной некоторого нежеланного увеличения нашего народонаселения, так вот, среди всего этого добра увидел Шихин однажды и собрание сочинений Иосифа Виссарионыча. Начинался подъем. Когда книги любимых тиранов оказываются на свалках – верный признак отрезвления и духовного пробуждения. Книги были уменьшенного формата, издатели не поскупились на бумагу, которая до того отпускалась лишь на альбомы по искусству, рядом со всемирно-историческим текстом шли широкие поля – чтоб томов получилось больше, чтоб толще они выглядели и внушительнее. Вождю всех времен и народов не была чужда простая человеческая слабость – желание поразить

воображение подданных необъятностью познаний, интересов и умственных усилий. Шихин любил диковинные вещи вроде угольных утюгов и глиняных свистулек, подобрал он и несколько томиков Виссарионыча. А придя домой, с удивлением обнаружил, что того тоже интересовали питекантропы, способ изложения мыслей на заре человечества, изъяснение и согласовывание действий. Так вот откуда эта первозданная краткость слога, вот откуда умение выразиться сильно, жгуче и, главное, необратимо, поразился своему открытию Шихин. Необратимость у Иосифа Виссарионыча была, конечно, на высоте, та еще необратимость...

Три месяца, а потом еще два отдала Валя Шихина обмену жилья. И единственное, что ей удалось сделать полезно за это время, – прорваться к министру не то угольной, не то металлургической промышленности и передать привет от непутевого сына, который проживал в том самом городе, из которого собрались бежать Шихины. Валя не знала сына, не была с ним знакома, но о его похождениях был наслышан весь город, поэтому она все-таки имела право передать министру низкий сыновний поклон. Старик растрогался до слез, выпроводил из кабинета ткнувшихся было к нему хмурых докладчиков с папками, вынул ноги из стоявшего под столом тазика с теплой водой и приблизился к Вале босиком, да-да, босиком, ступая мокрыми, изуродованными жизнью ногами по красному ковру и оставляя на нем мокрые следы, напоминающие медвежьи, приблизился и обло-

бызал. Он был счастлив узнать, что любимый сын Алик в свое пятидесятилетие поднял за него тост, был здоров, почти трезв и велел кланяться отцу. Старик, не глядя, подписал бумагу, протянутую Валею, и, не переставая промокать глаза каким-то важным документом, махнул рукой. Дескать, иди, милая, иди.

А надо вам сказать, что подписал он разрешение на право обмена жилья.

Да-да-да, дорогие товарищи, да!

Такие бумаги может подписывать только человек в ранге министра и выше, в крайнем случае зам. Но это в самом крайнем случае. Автор искренне надеется, что не выдал государственного секрета и что массы народа из Бобруйска, Моршанска и Днепропетровска не хлынут по шихинскому пути в министерские кабинеты за разрешением на вечное поселение в столице.

Да, лукавство проявила Валя, сноровку, авантюру провернула, называйте как хотите, но шло это не от испорченности натуры, не от наглости и корыстолюбия, а от безвыходности положения, в котором оказались Шихины. Однако рано торжествовала Валя победу над немощным старцем. От нее потребовалось еще немало усилий, чтобы обмен все-таки разрешили, хотя в бумаге с высокой подписью говорилось, как остро она необходима в министерстве, что министерство без нее не выполнит своих задач, завалит дело, осрамит государство, ослабит его могущество, подорвет авторитет на меж-

дународной арене и не исключены будут серьезные оргвыводы. В конце концов все именно так и произошло. Несмотря на отчаянное сопротивление старикашки, несмотря на слезы его, мольбы и заверения, ему пришлось перенести тазик с теплой водой из служебного кабинета на дачу.

Но вины Валентины в том уже не было.

А обмен все-таки состоялся. За шестнадцатиметровую комнату выменяла Валя ни больше ни меньше как дом. Да, большую бревенчатую избу, правда, не в самой Москве, а в Одинцове, в семи километрах от Кольцевой дороги, на Подушкинском шоссе. Обмен оказался тройным. Две старушки выехали из избы в московскую угловую комнатенку на Остоженке, а одинокая мамаша из этой комнатенки перебралась в шихинскую квартиру поближе к сыну.

Среди рассчитанных Валею вариантов были семикратные обмены, охватывающие едва ли не все столицы союзных республик, был даже двенадцатикратный с участием обменщиков с улицы Школьной поселка Никольское, что на острове Беринга, входящем в группу Командорских островов. К сожалению, эта затея лопнула, поскольку командорцы передумали и остались жить среди сивучей, которые хоть и кричали громко, но этим и ограничивались. А жаль! Шихин не прочь был поработать в «Алеутской звезде», выходящей на Командорских островах. Эти надежды были связаны с наивным предположением, что туда не дошли еще слухи о его увольнении.

Разгружая вагоны на станции Лощманская, фотографируя детишек у новогодней елки, стоя в очереди за молоком для Кати, Шихин еще не знал, не знал, негодник, что он – домовладелец. Шагая по Набережной с авоськой и трояком в кармане, не знал Шихин, что рядом с его домом дубовый лес, по которому бродят косули и лоси, что калитка выходит в березняк с подосиновиками и подберезовиками, что сад, его сад, наполнен ежами и белками. И что жизнь его меняется куда круче, чем ему могло тогда показаться.

Не знал Шихин, что в тот самый момент, когда он опрокидывает в гастрономе на проспекте Карла Маркса стаканчик сухого красного, жена его в далеком Подмоскowie растревоженно ходит по заснеженной террасе, ступает в темные промерзшие сени, заглядывает в громадную бревенчатую кухню, а за нею обреченно и безмолвно бредут две маленькие старушки, изредка взглядывая на нее с опасливой настороженностью. Старушки боялись, что дом их не понравится, что обменница отвернется от него с презрением и насмешкой, увидев прогнившие рамы, выбитые стекла, обвалившуюся печь, просевший пол. И им придется опять зимовать здесь, в комнатке, которую они смогут протопить, им придется колоть дрова, просевать уголь, таскать воду из колодца по скользкой тропинке, а теплая комнатка на Остоженке уйдет от них, уплывет и растает. И не знали, не ведали бедные старушки, что не находила Валя ни единого недостатка в их доме и замечала одни лишь достоинства – деревянные

ступени, просторные сени, большие окна в яблоне-вый сад, кусты роз у крыльца, пока еще заснеженные кусты, березы у забора и невероятной величественности дуб...

Освещенные зимним солнцем, удивительно похожие друг на дружку, хотя одна из них была матерью, а другая дочкой, старушки стояли на открытой террасе по колено в снегу и ждали, когда Валя скажет, что приехала зря, что жить здесь невозможно, и они согласятся с ней.

— Ну что, плох дом? — не выдержали старушки, когда Валя вышла из сеней. И сами себе ответили: — Плох, ох, плох... Без хозяина стоит, уж который год без хозяина...

— Да нет, ничего дом, жить можно, — осторожно произнесла Валя, боясь испугнуть обменщиц.

— Можно, — закивали старушки. — Можно жить.

— Меняемся?

— Отчего же не поменяться, коли душа просит...

— Подаем документы?

— А как же, без этого нельзя, — оживились старушки. — Дом-то хорош, хорош еще дом... Жить бы да жить...

Не будем описывать, сколько крови, нервов, денег стоил обмен Шихиным, старушкам, московской мамаше — она прямо-таки трепетала от дурных предчувствий. Приметы витали вокруг Шихиных, вокруг старушек, все страшно боялись, причем боялись не кого-то определенного, с фамилией и должностью, боялись вообще, как все мы боимся, привыкнув к опасностям, приходящим с самой неожидан-

ной стороны, к препонам, возникающим там, где никто их не ждет, к тому, что в наших деяниях вдруг обнаруживается злонамеренность, хотя с раннего детства нас приучили быть примерными и послушными. Многочисленным начальникам ужас как не хотелось этого обмена. Они видели в нем угрозу своему существованию, потакание чуждым взглядам и даже опасность для государственного устройства. Но обмен все-таки состоялся. Государство вроде уцелело, начальники усидели в своих кабинетах, Шихины получили право на избу, старушкам вручили ордер в теплую комнату на Остоженке, одинокая мамаша устремила на юг, на девятый этаж и теперь каждый день вместе с сыном посещает драматический театр, ресторан «Поплавок», участвует в психологических опытах в парке имени Чкалова.

Заказали контейнер. Первый раз в жизни. Как порядочные.

Пришла машина с красным сундуком в кузове. Это и был контейнер. Водитель, тощий, лысоватый парень, вышел из кабины, пнул шину, плюнул в сторону, посмотрел в небо, раскрыл кованые ворота сундука и сказал:

– Грузите. А то мне некогда.

Почему-то торопясь и раздражаясь, в контейнер запихнули все тряпье, оставшееся от прежней жизни, – раскладушки, книги, подшивку «Моложавого флагоносца» с фельетоном «Питекантропы», чемодан с игрушками, холодильник, он и сейчас, двадцать лет спустя, исправно служит Шихи-

ным, забросили в контейнер несколько досок, подобранных у мусорных ящиков, – пригодятся. В мешок сложили шторы, занавески, скатерти, следом пошла коробка с тарелками, обувь, которую еще можно было починить, но сундук остался оскорбительно пуст.

– Да! – крикнул водитель. – На фига вы контейнер заказывали? В двух авоськах все бы и перевезли.

– А холодильник? – спросил Шихин, пытаясь восстановить уважение к себе.

– Холодильник можно багажом. Вместе с вами одним поездом приехал бы. А так три месяца ждать будете. Тоже еще... хозяин! – Водитель захлопнул железные ворота сундука, продел в петли проволоку, нацепил свинцовую пломбу, пнул шину, плюнул в сторону, посмотрел в небо и уехал. И в том, как пустовато болтался и раскачивался контейнер, как прыгала на выбоинах машина, и даже в том, что водитель выехал со двора на дорогу, не дожидаясь зеленого света светофора, было что-то унижительное, словно насмешливый укор в нищете.

Шихин посмотрел вслед грузовику, недовольно прошел за ним несколько шагов, оглянулся. Вокруг валялись обрывки газет, выпавший из какого-то узла носок, колесо от детской машины, шариковая тридцатикопеечная ручка. Он поднял ее, убедился в пригодности и сунул в карман. Из окон на Шихина смотрели отрешенные старушечьи лица. Какое-ни-какое, а событие, жильцы уезжают. Кто-то новый приедет.

Очень интересно. На неделю разговоров.

Шихин поднялся в квартиру, вышел на балкон. Из мокрого, подтекающего снега торчали горлышки бутылок, лыжные палки, мятые ведра. Да, обмен не дается легко, над городом уже гудела весна. Шихин увидел влажное небо, слабое солнце в разрывах туч, блики на железных крышах домов. С севера на них еще лежал тяжелый снег, а с южной стороны крыши успели просохнуть, и у нагретых солнцем кирпичных труб неподвижно сидели коты, истосковавшиеся по теплу, по весне, по любви. Машины неслись, разбрызгивая лужи, прохожие жались к домам, на соседнем пустыре предавалась бесстыдству разношерстная собачья свадьба. Дети, оставив свои игры, смотрели на нее с каким-то оторопелым испугом. Заводы в этот день были серыми, и серый дым поднимался над их корпусами.

Продрогнув, Шихин вошел в квартиру, не снимая пальто, прошелся по комнате. Поддал жестяную банку, картонную коробку, сношенную туфлю. Катя в обвисших колготках и в великоватом платье рылась в мусоре, пытаясь спасти свои разоренные сокровища – пуговицы, бусинки, обрывки цепочек, бантики для кукол, шнурки от ботинок. Не увидев стула, Шихин сел на пол, прижался спиной к батарее и закрыл глаза.

Страдал Шихин? Возможно.

Вспоминал? Конечно, вспоминал. И перед его мысленным взором...

Нет, не будем. Все мы прошли через подобное и можем хорошо себе представить его состояние. Если кто-то очень задушевный подойдет к нему и спросит: «Чего тебе, Митя, сейчас хочется больше всего?» – «Водки, – не задумываясь ответит он, – граммов сто семьдесят – сто восемьдесят». И возникни в эту минуту на подоконнике тонкий стакан с водкой – он ее выпьет. И останется сидеть у батареи, ожидая, когда придет расслабленность и легкое пренебрежение к дальнейшей собственной судьбе.

– Ты чего? – спросила Катя, подходя к Шихину. – Тебе, наверное, грустно?

– Маленько есть...

– Хочешь, я подарю тебе бусинку? – Она протянула на ладоншке красный пластмассовый шарик.

Шихин взял бусинку, внимательно осмотрел ее со всех сторон и положил в карман.

– Спасибо. Очень хорошая бусинка. У меня никогда такой не было.

– Смотри, не потеряй!

– Что ты! Упаси боже!

– Тебе уже не грустно?

– Нет, теперь все в порядке.

– А то я могу тебе еще что-нибудь подарить. – Катя сунула руку в карман, долго шарила там, что-то вынимала, опять прятала, а Шихин смотрел на нее и будто впервые видел перекошенные, исцарапанные очки, застиранное платье, стоп-

танные тапочки, у которых он сам срезал носки, чтобы они не были тесны, и теперь пальцы у Кати торчали не только из колгот, но и из тапочек. «Ничего, – подумал Шихин, – в одинцовском саду она и босиком сможет бегать».

– Что ты на меня так смотришь? – спросила Катя.

– А как я смотрю?

– Будто первый раз увидел и не знаешь, кто я такая.

– Нет, что ты... Я просто... люблюсь.

– А если уйду, ты опять будешь грустить?

– С такой бусинкой разве можно!

– Почему ты не смеешься?

– Ха-ха-ха!

– Разве так смеются...

– А как смеются?

– Весело.

– Ну покажи, как, – попросил Шихин.

– Нет. – Катя покачала головой. – Сейчас не получится. У меня сейчас нет никакого смеха. И вчера не было. И у меня, наверно, уже целый месяц нет смеха.

– Подумаешь – месяц! У меня, кажется, вообще нет смеха. Хочешь, я подарю тебе одну вещь? – Шихин вынул из кармана подобранную на улице ручку.

– А она пишет?

– Конечно. Стал бы я тебе ее дарить, если бы она не писала... Вот, смотри. – Подняв с пола клочок бумаги, он нарисовал на нем рожицу и протянул Кате вместе с ручкой.

– Спасибо, – сказала она. – Только ты все равно не разве-
селился.

– Ничего, я исправлюсь, – заверил Шихин. – Вот увидишь.
Ты меня даже не узнаешь – я буду хохотать, вертеться на од-
ной ноге и выкрикивать глупые слова.

– Тебя накажут, – сказала Катя. – Так нельзя. Ты уже боль-
шой.

– Кто накажет?! – вдруг закричал Шихин. – Кто?

– Кто-нибудь накажет, – и Катя отправилась на кухню.

Шихин слышал, как она рассказывала Вале, что папа гру-
стит, но она его вылечила, подарила бусинку, и он немно-
го повеселел. Та почти не слушала ее, торопясь наварить
картошки, стушить капусту, нарезать огурцов – приготовить
стол. Скоро должны были подойти друзья.

Прижавшись спиной к теплой батарее, Шихин осматри-
вал квартиру и впервые поражался ее убогости, безуспеш-
ным своим попыткам придать жилью хоть сколько-нибудь
пристойный вид. Они с Валею красили стены, передвигали
мебель, вешали занавески, но только теперь Шихин понял,
что ничего не добились. В стенах торчали гвозди, на которых
еще вчера висели фотографии, календари, рисунки, остал-
ся светлый прямоугольник детской кровати, овал от кера-
мической тарелки. Теперь, когда вынесли стулья, стол, ди-
ван, обнаружились елочные иголки, осыпавшиеся еще в ян-
варе, угол, залитый чернилами, нашлась даже черная ладья,
которую Шихин безуспешно искал несколько лет. Окно без

штор казалось неестественно большим, и слабое солнце высветило самые дальние, заветные углы жилища, заполненные каким-то дешевым мусором. И Шихин казался себе таким же ненужным и выброшенным, как эти клочки бумаги, сложенные игрушки, осколки новогодних шаров. Он переводил взгляд с одного предмета на другой, не торопясь расставаться со своими невеселыми мыслями.

А впрочем, какие мысли! Никакие мысли в эти минуты не беспокоили его. Было паршивое настроение, была какая-то растерзанность в душе и... прозрение. Он понял, что к тридцати годам ни к чему не пришел, никем не стал, не сделал ничего стоящего, да и сделает ли? Уж коли эта разнесчастная газетенка вышвырнула без всякого сожаления и продолжает выходить как ни в чем не бывало, то о чем говорить, о чем? А ведь работа в ней, святая дурь, казалась смыслом жизни, счастливо обретенным шансом, деятельностью! О боже, деятельностью, которой он готов был отдавать и отдавал силы, время, жизнь!

А ведь он обманывал людей, убеждая их в том, что они могут добиться правды, справедливости, достоинства. Шихин рассказывал им нравоучительные истории о том, как кто-то чего-то доказал, и призывал читателей следовать примеру этого несгибаемого человека. Шихин говорил – смотрите, вот он ни перед чем не остановился и выстоял. И люди шли, как идут бараны за сонным и жирным своим собратом, который уже столько лет водит их в загон, где начинается бой-

ня. В последний момент поводырь уходит под перекладину, она опускается, стадо оказывается перед людьми с ножами на изготовку.

Шихин полагал, что он отстаивает истину, а оказывается, он просто служил поводырем.

Он говорил читателям – смелее! Они шли за ним и сгорали. Его не винули, потому что он говорил правду. Но правда эта была не общего пользования. К ней прорывались единицы, и путь к ней был усеян трупами.

Спокойно, Митя, подумал Шихин. Хорошо, что пробивались хоть единицы. Жертвы? А чего дельного можно добиться в мире без жертв? Пусть жертвы. Зато не исчезло само понятие правды. А люди, прошедшие через унижения, обрели новую ценность. Для общества? Да, для того общества, которое обошлось с ними столь...

Раздался звонок, и Шихин поднялся встречать гостей. Они пришли шумной, говорливой толпой: видимо, собрались заранее или у подъезда поджидали друг друга. Кто-то нетерпеливо заглянул в комнату, надеясь увидеть накрытый стол, но стола не оказалось, и оживление быстро пошло на убыль. Но Шихин знал, что друзья, в эти минуты так в нем разочарованные, скоро утешатся и опять полюбят его – едва он попросит кого-нибудь пройти на балкон и вынуть стынущие в мокром снегу бутылки. Прощание происходило до Указа о борьбе с пьянством, поэтому Автор беззаботно со-

общает об этих невинных подробностях, простодушно надеясь, что редактор в нынешнюю пору гласности пропустит его шалости, если, конечно, гласность сохранится ко времени опубликования этой истории, если, конечно, дойдет до этого, если, конечно...

Чтобы соорудить стол, пошли на старый испытанный прием – сняли с петель дверь, положили ее на две кухонные табуретки и накрыли газетами. Осталось принести бутылки с балкона, картошку, капусту, колбасу из кухни, осталось расположиться вокруг на ведрах, на стопках журналов, на корточках. Самые чинные остались стоять, чтобы не мять штаны, не делать пузырей на коленях. Тем лучше – не задержатся слишком долго, а нам не придется тратить бумагу на описание этой, в общем-то, незначительной сцены, совершенно необязательной для дальнейшего повествования. Единственная цель Автора – назвать новые имена, поскольку с газетчиками мы попрощались, и возвращаться к ним у него нет ни малейшего желания. Да и надобности никакой. Они – отработанный материал. И не только для нас. С годами все яснее и убедительнее обнаруживается какая-то зловещая закономерность – люди, хоть несколько лет проработавшие в таких вот захудалых газетенках, вложившие в них пыл юности, жар молодости, здоровое и разумное тщеславие, через годы действительно превращались в людей со своими хитренькими истинами, тлеющими обидами, с целями, достигая которых хочется что-нибудь над собой сотворить. Но и здесь

их хватало лишь на то, чтобы попросту напиваться время от времени самым зверским образом, объясняя это своей незаурядностью, неувыдаемостью, черт подери!

Комната, залитая бессовестным солнечным светом, обнажившим печаль брошенного жилья, запомнилась Шихину какой-то горькой праздничностью – был стол, круг друзей, они собрались ради него, и за веселым перезвоном стаканов, за отчаянными безответственными тостами, за криком и хохотом была, все-таки была грусть расставания. Так уж получится, что все они, человек двенадцать, наверное, целая дюжина, никогда не соберутся вместе без него, без Шихина. Он их связывал, придавал смысл их знакомству. И даже сейчас, у стола, кто-нибудь нет-нет да и взглядывал на соседа с ревнивым недоумением – а ты, мол, по какому праву сидишь в этом тесном кругу и питаешься нашими тайнами в столь заветный час прощания? Но, наверное, они все-таки были близкими друзьями. Хорошо знали друг друга, поскольку не первый раз собирались у Шихина, и переговорено между ними было предостаточно. И ссорились здесь и мирились, трепались обо всем на свете, на все имея мнение, которое не всегда, это надо признать, далеко не всегда совпадало с мнением как местных, так и центральных газет. Но вот что интересно – те давние яростные ниспровержения, которые будоражили своей непочтительностью к государственным ценностям, теперь, только теперь подхватили газеты, как местные, так и центральные. Сегодня наши герои могут быть удовле-

творены тем, что стены их слышали, что розетки, выключатели, предохранители, которыми напигованы наши квартиры, мысли их записали и куда надо переправили. Нефтодьев зря боялся, записанные мысли не всегда во вред. Однако ныне нет-нет да и охватывает растерянность наших вольнодумцев, да и нас с вами, ведь мы привыкли быть смелыми, высказывать нечто чреватое, рискованное, а тут вдруг оказывается, что запретность исчезла, что мы вовсе не кощунствуем над нашим духовным обнищанием, над оскверненными святынями, над вопиющим невежеством нашим и темнотой, а просто пересказываем друг другу газетные статьи. И когда самых знаменитых наших вождей называем взяточниками и палачами, мы не кощунствуем, нет, пересказываем, слегка ошарашенные столь полным подтверждением давних своих догадок и подозрений.

Какой конфуз для человека, привыкшего считать себя канатоходцем под куполом цирка — дескать, люди в ужасе, люди восхищены его смелостью, готовностью рискнуть жизнью, чтобы распотешить их! А на самом-то деле канат давно уже безвольно лежит в пыли, на циркача никто не смотрит, все спешат по своим делам, а он с уморительно серьезным видом продолжает свой номер... А ведь не выдумка. Автору известен один такой мыслитель, который вот уже лет двадцать, размахивая, как дурак, руками, ходит по валяющемуся канату в полной уверенности, что тот звенит и вибрирует, натянутый где-то в поднебесной выси. А он, с мужественным

прищуром голубых глаз... Ну и так далее.

Возвращаясь к нашим героям, можно сказать: авось Автор верит в них, верит, что соберутся они еще разок-другой и опять нащупают запретную жилу, опять ворвутся в нечто опасное и для государства нежелательное. Не может такого быть, чтобы не осталось у нас ненаказуемого. И опять зазвонит канат под ногами, и замигают сигнальные лампочки, завертятся катушки с магнитной лентой, и начнут наматываться на них мысли дерзкие и непочтительные – программы будущих преобразований.

Дмитрий Алексеевич Шихин.

Уезжает он из своего города, и поджигается шнур, пускается маховик, замыкается контакт – называйте как хотите, но теперь уже ничто в мире не предотвратит прекрасных выстрелов в предрассветном лесу, в котором не был еще ни один из наших героев. Дай бог им удачи уцелеть, выжить, унести ноги. И хотя далеко Рихард Янеш со своей пятнадцатизарядной «береттой», и палит он из нее пока что лишь по гифхорнским мишеням, и Абдулафар Абумуслимович Казибеков прячет парабеллум где-то в дербентских подземельях, и нет еще ружья, его надо найти, починить, смазать, патроны подогнать, и нет еще повода. Но выстрелы прогремят. И вздрогнут невозмутимые лоси, метнутся влюбленные кошки, взлетят пыльные вороны над мусорными ящиками города Одинцово, взвизгнув, сорвется с места утренняя элек-

тричка и унесется к Голицыно, к Звенигороду, к Можайску. И рухнет, рухнет человек в мокрую траву и будет ловить воздух слабеющими пальцами, и черт его знает, что в этот момент возникнет у него на лице – то ли скоморошья ухмылка, то ли предсмертный оскал. Но уже кому-то обо всем этом известно, есть уже в мире знания о назревающих событиях.

Когда шихинские друзья собрались вокруг стола, сооруженного из картонной двери, линии их судеб, словно скрученные в зеленую пружину выюны, вздрагивая от распирающей их силы, взвились над головами и устремились в будущее. Присутствуй при этом мой друг Аристарх, выдающийся провидец и милиционер, он наверняка увидел бы вонзившиеся в потолок светящиеся линии, наполненные опасным для жизни электричеством. И хорошо, что его при этом не было, не то по доброте душевной он мог бы предупредить о пересекшихся судьбах, о линиях, которые с тихим шелестом, слепяще и невидимо, одна за другой уходили в потолки и, пронзая железобетонные перекрытия, асфальто-рубе-роидные слои, кирпичные перегородки, уносились в космическое пространство, а там, попав в зону действия черных дыр и красного смещения, изгибаясь, возвращались на землю, чтобы пересечься над крышей невзрачной одинцовской избы.

Но это потом.

А пока застолье.

– Значит, едешь? – с теплотой в голосе спросил Шихи-

на его лучший друг Ваня Адуев, человек, немало повидавший на своем веку. Он плавал на стальных кораблях, заходил в скалистые бухты Кольского полуострова, совершал вынужденные всплытия и вынужденные погружения, посадки и взлеты, впрочем, он всю жизнь этим и занимался.

– Вроде к тому идет, – и ответил, и увернулся Шихин.

Это была его обычная манера – все остерегался обидеть собеседника черствостью, неспособностью откликнуться на задушевность. Но это продолжалось недолго, и если слишком уж его донимали, происходило неуловимое превращение, когда Шихин, все еще благодушный и снисходительный, чутко уловив скрытое превосходство, тут же делался хамом и задирой. И ничего уже не значили для него прочувствованные тосты, товарищеские поцелуи, которых он, кстати, терпеть не мог, и даже многолетняя дружба – гори все синим огнем!

– А на фига? – продолжал допытываться Адуев.

– Кто его знает.

Не любил Шихин разговоров по душам после рюмки водки. Он и без того мог сказать все откровенно, но как бы между прочим, не бия себя в грудь и не припадая к сочувствующему плечу. Адуев же, решив в чем-то довериться, неделю намекал, назначал время встречи, долго молчал, играл глазами и шумно дышал. И вздрагивали его желваки, пальцы в волнении сжимались и там, в глубинах кулака, нагревались и потели, а голубые, с мужественным прищуром глаза излуча-

ли тепло и участие, прежде чем он скажет, восторгаясь широтой собственной души: «Как же я люблю тебя, собаку!»

За подобными разговорами Шихин видел натужность, стремление выглядеть тонко чувствующим и значительно опечаленным. «Плевать!» – думал он в таких случаях. Даже не думал, просто жило в нем это словцо, время от времени выскакивало наружу, выдавая явный недостаток воспитания и невысокую культуру общения. Он тихо страдал, ощущая на себе чей-то долгий, теплый, бесконечно добрый взгляд, до стона маялся, когда кто-то жал ему руку, заглядывал в глаза и произносил что-то настолько нежное и сочувствующее, что хотелось дать ему по шее. Подергивая свою ладонь, пытаясь освободиться, вертя головой в поисках случайного избавителя, пряча глаза от настойчивого взгляда, Шихин бывал почти уверен, что от него хотят чего-то непристойного. И ныне, годы спустя после того прощального застолья, встречается Шихину в коридорах одного красивого журнала подпрыгивающий человечешко с лысеющей головкой и пористым носом. Коричнево-кожаный член редколлегии, одно упоминание о котором везде вызывает веселый смех, прямо-таки обожает, ухватив человека за ладошку и уставившись в него чуткими глазенками, затевать разговоры о том, что у него опять пропала собака – от него почему-то все время сбегали собаки, впрочем, Шихин их понимал. Поговаривали, что этот человечешко просто съедает своих собак, и столько съел их, что давно состоит сплошь из собачатины, и лишь

когда он напился по случаю Восьмого марта и залаял, у всех окончательно открылись глаза. Но псоеду оставалось три года до пенсии, и его решили не трогать.

– Ты не должен ехать, – твердо сказал Адуев. – Погибнешь. Ты не смог удержаться в газете, а там вообще загнешься. Здесь твой город, твои друзья, готовые прийти на помощь в любую минуту. Посмотри, сколько у тебя друзей! Да они гору своротят! А там? Пустота и одиночество. И никому до тебя нет дела. Ты меня понял? Я почему все это говорю – ведь я люблю тебя, дурака! Люблю! – Адуев одним махом выпил полстакана водки, ткнул себе под нос кусок хлеба и отвернулся, не в силах сдержать нахлынувшее.

– Ваня, – Шихин положил руку на массивное плечо Адуева, – ты ведь говоришь это не для того, чтобы я остался, верно? Вещи на вокзале, билеты в кармане, а эта квартира нам уже не принадлежит. Только нерасторопность ее нынешней хозяйки позволила нам собраться здесь. У нас другое жилье. Дом. В семи километрах от Москвы. В Одинцове. Приезжай, буду рад.

– Ты видел тот дом? Халупа!

– Но ведь кто-то жил в ней до нас? Значит, можно жить. Починим, подлатаем, застеклим... Валя видела, говорит, ничего дом.

– И все с нуля?

– Да, если тебе нравится это слово. С нуля.

– Как же я люблю тебя, бедолагу! – Глаза бывалого моряка

или летчика, не помню уж, где он там служит, предательски увлажнились.

Шихин отвернулся. Не любил он столь сильных проявлений чувств. Не верил им. И правильно делал.

– Митя, ты должен все взвесить, – сказал Игореша Ююкин, человек сдержанный, с мягкими повадками, почти незаметной улыбкой и с очень заметной сединой. К моменту застолья он уже тронул сердце присутствующей здесь же Селены Матвеевны, женщины молодой, красивой, светловолосой, всегда готовой посмеяться над кем угодно. У Селены был широкий шаг, кожаная юбка и химическое образование. А узнать ее вы всегда сможете по белокурому локону, который иначе как буржуазным назвать нельзя. Стоит лишь мельком взглянуть на этот локон, заворачивающийся вроде молодого полумесяца на фоне щеки, покрытой почти неуловимым пушком, как перед вами невольно возникают картины жизни раскованной, может быть, даже разнузданной, если не распутной. Шихину очень нравилась Селена, во всяком случае, он никогда не забывал, что перед ним женщина, готовая на поступки весьма отчаянные, на грани морали, а при случае и за гранью. Кто знает, как бы сложились их отношения, если бы не гордыня Селены. Она могла пойти на что угодно, но – снисходя.

И к Игореше Ююкину она снисзошла, однако того это устраивало.

– Ты должен обязательно все взвесить, – повторил Игореша

ша, пригубив свой стакан. Он никогда не пил, только пригубливал.

– Правильно! Все взвесить, чтобы лишние узлы сдать в багаж! – подхватила Селена и рассмеялась удавшейся шутке. И Игореша улыбнулся, посмотрев на нее чуть внимательнее и доброжелательнее, нежели прежде. Через год она выйдет за него замуж, еще через некоторое время у них родится ребенок, умный в отца, красивый в мать и до того нахальный, что даже трудно сказать, в кого он пошел больше. Селена будет возить его по всем киностудиям страны, предлагая, и безуспешно, в качестве кинозвезды. Его портреты с мамой, с папой и без них вы сможете обнаружить в картотеках всех киностудий, если их оттуда, конечно, не выбросили – ребенок-то растет, натура устаревает. Как бы там ни было, с ранних лет он будет сниматься в кино и думать о себе очень хорошо. Но не ищите его на экране, в гриме он ставится почти неузнаваемым, а кроме того, кадры, где он появляется, режиссеры безжалостно вырезают, и не потому, что юный Ююкин не справляется, нет, играет он настолько ярко и самозабвенно, что остальные актеры рядом с ним попросту блекнут.

Был здесь и Костя Монастырский, создатель новой экономической теории, настолько смелой и глубокой, что вот уже лет двадцать не может найти ни сообщников, ни соучастников. И что самое удивительное – даже в соавторы не может никого заманить. Впрочем, последнее время дело сдви-

нулось, монастырские идеи подхватили на самом высоком уровне, но, к сожалению, Косте никак не удастся доказать свое авторство. Все то, о чем он говорил двадцать лет назад в забегаловке «Снежинка», в пирожковой и вареничной, все, что он яростно отстаивал после стакана красного, за бутылкой белого, все это теперь на устах, все перекочевало в газетные заголовки, в программу «Время». Вроде бы и нет у Кости оснований печалиться, жизнь подтвердила его предвидение, подтвердила все, чем он делился с Автором, с Шихиным, с Ванькой Адуевым, однако неудовлетворенное тщеславие терзает Костю. Но мы-то с вами прекрасно знаем, кто начинал, кто будоражил, кто открыл, установил и доказал. Знаем, кого таскали по кабинетам, уличая во враждебном настрое, знаем, кого гнали с работы, вычеркивали из очереди на квартиру, кого лишали премии, рисовали в стенных газетах и поминали с высоких трибун – Монастырского.

Поседали, поредели его волосы, но, как и прежде, мелкими завитушками растут назад, и поэтому кажется, будто в лицо ему постоянно, всю жизнь, дует сильный злой ветер. А в общем-то, так оно и есть. Многих свалил с ног этот ветер, с иных сорвал одежды, оставив голыми, в чем мать родила, некоторых просто унес в небытие. А Монастырский продолжает идти вперед. Ветер рвет его волосы, делает острыми и пронзительными черты лица, но в глазах, как и прежде, нет ни усталости, ни жалости. Вот только горечи и обиды все больше.

– Удачи тебе, Митя, – сказал Монастырский. И залпом, до дна выпил свой стакан. Семикопеечный граненый стакан – мы пьем из таких стаканов газированную воду в автоматах.

– Ты почему не закусываешь, Костя? – спросила Селена, толкнув Игорешу локотком. Дескать, слушай.

– Жду результата, – без улыбки ответил Монастырский.

Он был очень четкий человек, он понимал только суть вопроса, остальное отбрасывал как несущественное. При желании Костя мог бы услышать в словах Селены внимание к себе, насмешку, намек на то, что за этим столом и закусывать-то особенно нечем. Но он ответил только на поставленный вопрос. Он ждал результата. Вот так. И дождался. Через пятнадцать минут Монастырский заливался счастливым смехом, и ничто не могло его остановить. Смеялся, и все. Это и был результат. В таких случаях он отсмеивался на год вперед, а потом месяцами ходил суровый и вдумчивый.

– Митька! – громко сказал Илья Ошеверов, тот самый, который вскоре уедет в Салехард, наймется фотографом, вернется без копейки, будет подрабатывать аквариумными делами, потом бросит все и станет водителем на междугородных перевозках, в каковом качестве приедет в Одинцово. Там мы с ним и встретимся. – Митька! – повторил Илья. – Не слушай никого. Ванька несет чушь. И Игореша несет чушь. Они оба несут чушь. Надо ломать карту. К утру повезет. Если нет козырей, ходи бубну. Понял? Ходи бубну. Карта – не лошадь. За тебя!

Молча выпил и принялся охотно закусывать Васька-стукач, известный своими кулинарными способностями и непотребной кличкой, о которой знали все, кроме, пожалуй, его самого. Похоже, не знали об этой кличке и в далекой таинственной конторе, на которую Васька работал нештатно, а может, даже и бесплатно, из одной только любви к порядку. Васька-стукач славился потрясающей своей памятью. После самой жестокой пьянки он мог точно сказать, какие были тосты, в каком порядке, кто их произносил, кто что добавил, в какой руке при этом Шихин держал вилку, о чем говорила Валя по телефону в соседней комнате и так далее. Качество это у него было чисто профессиональное, удивляться тут нечему. Упомянули мы о Ваське-стукаче единственно из добросовестности, поскольку линия его судьбы тоже взвилась в этой комнате, унеслась в бескрайнее пространство и, круто развернувшись вокруг черной дыры, устремилась в Одинцово.

Тут же вертелись и некий Федулов со своей очередной женой – укороченной бабенкой с выпирающим животиком. Животик у нее выпирал не потому, что она собиралась продлить род человеческий, просто Федулова любила поесть, даже если на столе не было ничего, кроме картошки и колбасы. В самые неожиданные моменты она сипловато взвизгивала, будто кто-то забирался к ней за пазуху и никак не мог там успокоиться. Федулов улыбался, кланялся, взмахивал руками, все порываясь что-то сказать, но так и не сказал,

потому что каждый раз, когда он открывал рот, вскрикивала его жена, выныривая то с одной стороны стола, то с другой.

Федуловы тоже прикатят в живописный московский пригород хотя, честно говоря, никто их туда не звал, их вообще никто никуда не звал, но они везде бывали и везде чувствовали себя превосходно.

Чтобы не увлечься перечислением шихинских гостей, на этом остановимся, разве что послушаем их самих, недолго, совсем недолго.

– Как я тебя люблю, собаку! – прочувствованно повторил Ванька Адуев.

– А все-таки нам будет тебя не доставать, – покатываясь от хохота, просипел Монастырский.

– Чует мое сердце, долго я здесь не задержусь, – сказал Ошеверов.

– Мы всегда будем помнить о тебе, Митя, – это Игореша Ююкин. Трогательно, с чувством и по делу. Правда, его слова прозвучали несколько зауспокойно, но по пьянке и не то скажешь.

– Я обязательно к тебе приеду, – сказал Васька-стукач.

– Нисколько в этом не сомневаюсь, – ответил Шихин. Ему единственному ответил. Остальным он лишь кивал, подливал и поднимал свой стакан с красным болгарским вином.

Из редакции никто не пришел, хотя знали, что Шихин уезжает, знали, что именно в этот день будет застолье. Даже болгарским красным не соблазнились, хотя, казалось бы, такие

уж любители, такие ценители...

Не пришли.

Шихин чутко прислушивался к грохоту лифта, к шагам на лестничной площадке, к голосам, порывался даже встать, открыть дверь, выглянуть – вдруг к нему. Но, видно, не пустил он корней в газете, хорошо ли, плохо ли, не пустил. И пока молча улыбался за шумным столом, понял, что веселость, с которой посылали его за вином, и им не далась легко. Это тяжелая работа. Можно какое-то время морочить себе голову, называя предательство как-то иначе, находя в нем забавные подробности, можно его оправдывать простоватостью, подневольностью и даже заботой о государстве, но недолго. Очень недолго, ребята.

Самые убедительные оправдания в таком деле очень быстро теряют свою силу.

Отъезд.

В звучании этого слова есть что-то от звука ножа, отсекающего живое, вам не кажется? Если отъезд, если всерьез и надолго – отсечение. Легко и безболезненно, как корки от зажившей раны, отпадают связи омертвевшие, но годами болят и сочатся живые, полные любви и ненависти. Что говорить, все мы прошли через это и знаем, и помним – тяжело.

Но почти всегда необходимо.

Останься – и многое потеряет смысл, обесценится,дохнет пустотой и тщетностью. Милые твои улочки, усеянные желтой листвой, пронизанные летним солнцем павильончики с мороженым и сухим вином, заснеженный Ботанический сад или залитая дождем Набережная – все погаснет. А настоящее, зовущее уже переместилось туда, за горизонт, куда ты не поехал, чего-то испугавшись, дрогнув. Нет, надо ехать. Надо отсекать. Может быть, для этого требуется мужество или какая-то осатанелость, но, наверно, полезнее всего ограниченность. Она дает твердость под ногами, уберегает от всей многозначности жизни. Когда мы готовы взмахнуть крылами, чтобы унести в небо за еле видимым журавлем, когда рвемся вслед за поездом, из которого, как нам показалось, махнули знакомой косынкой, когда душа содрогнется от неожиданной бесовской любви, единственно, что спасает

нас, – ограниченность. Навалится дурнотой, глухотой, пьянкой, болезнью, страхом... И спасет.

И спасает.

И дрогнут вагоны, дрогнут губы, заголосят проводники, желтыми своими палками выталкивая из вагонов провожающих. И побегут они по перрону, сшибая друг друга, потому что если не побегут, то мы на них обидимся, упрекнем мысленно в холодности и равнодушии. Да-да, надо хоть немного пробежать за вагоном. Махнуть рукой, крикнуть что-то бессмысленное, много раз говоренное, повторенное и записанное – номер телефона, название станции, напоминание о курице в пакете, о скором дожде. Так принято. Пусть знают отъезжающие, как тяжело с ними расставаться, как любят их и как будут без них страдать. Им это нравится. Всегда приятно, когда мы узнаем, что кто-то безнадежно страдает из-за нас, ждет безутешно, пишет письма и рвет их, заказывает телефонные разговоры и тут же заказы отменяет. Сердце замирает в сладостной грусти, и мы готовы простить этому человеку все... Единственное, чего мы простить ему не сможем, – это его страдания по кому-то другому. Нам почему-то всегда хотелось бы верить, что только мы достойны чистых и глубоких чувств.

Боль разлуки.

Мы стремимся ослабить ее пренебрежением, тоже надежным болеутоляющим средством. Оно хорошо помогает, когда от нас уходят, когда нас гонят, когда в нас не нуждаются.

ся. А мы лишь хохотнем мимоходом, оглянемся улыбочиво и пойдем своей дорогой. Куда глаза глядят. Дескать, не так все это важно, и если уж на то пошло, то не столь мы с вами значительны в этой жизни, не столь изящно воспитаны, чтобы придавать значение собственным страданиям. Чепуха все это, истинно чепуха.

И, отсмеявшись, покуражившись над заветным, отхлопав по плечам первых попавшихся приятелей, которых в другое время и не узнал бы, бредешь домой, постанывая сквозь зубы, припадая к заборам, столбам, витринам, отсиживаясь в темных углах автобусных остановок, чтобы перевести дух, собраться с силами и идти дальше с этакой непринужденностью в походе. Пусть все знают, как мы неуязвимы, как веселы и беззаботны.

А за окном вагона уже мелькает железный частокол клепаемых мостовых ферм, они проносятся мимо и перечеркивают, перечеркивают город, в котором прошло так много твоего времени, в котором произошло столько всего, сколько с тобой уже больше никогда не случится. Тяжелые, ржавые фермы проносятся мимо и перечеркивают улицы, разбитые фонари, громыхающие телефонные будки, Постамент из красного гранита, на котором когда-то стояла Екатерина, основавшая город, а теперь не менее величаво возвышается Михаил Васильевич Ломоносов, не имеющий никакого отношения ни к городу, ни к Постаменту. И если он к чему-то имеет отношение, то лишь к самой Екатерине. Она заложила город,

он прославил ее время – пусть потомки разбираются, кому стоять на высоком холме, кому смотреть в даль будущих веков в позе церемонной и великодержавной.

Да, и друзья!

Твои верные и неверные, заботливые и завистливые, продажные и преданные друзья – тоже перечеркнуты. Они остаются здесь. И черт с ними, и подальше от них, подальше, пока цел, пока жив, пока не подхватил цирроз, пока веришь в добро и хоть немного в себя – подальше. Есть среди них самые что ни есть настоящие подонки, но расставаться с ними не менее тяжело, чем с наибогороднейшими. Для чего-то они нам нужны, почему-то требует их душа, хотя знаем: легко и бездумно предадут нас и продадут и недорого возьмут. Да что там – уже продают, знаем, кто из них берет за это, знаем, ребята, как ни горько в этом признаваться, знаем. Есть у нас странные заведения, готовые оплатить их услуги. И оплачивают.

А мы говорим – плевать!

А мы говорим – авось!

А мы говорим – а!

А он, получив деньги, покупает бутылку и идет с нею к нам же, потому что ему некуда идти, ему больше не с кем эту бутылку распить. Мы пьем с ним водку, прекрасно зная, за какие деньги она куплена. И продолжаем болтать своим дурным языком, давая материал для нового доноса, но жаж-

да выговориться куда нестерпимее, нежели страх и опасливость. Он уходит, облегчив душу, а в глазах у нас печаль понимания, и он видит эту нашу печаль и знает ее причину.

Но если не корежит, не отвращает его подловатость, значит, и в нас завелась порча, значит, и мы тронуты всеядностью, рабским смирением и безысходностью, а? Мы уже не верим, что когда-нибудь будет иначе, что может быть иначе, что переведутся доносчики и стукачи, или что хотя бы их будет поменьше, или хотя бы они будут не столь усердны и исполнительны...

О чистота! О честность! Честь!

Как глубоко вы в нас сидите, как неприметно в нас живете! Как редко голос подаете! И сколько надо с нами сотворить, чтобы заставить вас заговорить...

Так о чем это мы?

Да, телефонные будки, танцплощадки, гастрономы... Прощался Дмитрий Алексеевич Шихин со всем этим хозяйством, похоже, навсегда прощался, глядя на город сквозь косо мелькающие фермы моста. И видел, только мысленно видел телефонную будку, из которой объяснялся в любви, впрочем, нет, это неправильно сказано, просто он сказал одной девушке, что ему чертовски паршиво без нее, чем немало ее потешил. Он видел дежурные гастрономы, куда забредал с полуночными друзьями на прощальный стакан. Да, это происходило в те недавние и невозвратные уже времена, когда в гастрономах из стеклянных конических колб очарова-

тельные девушки в белых кокошниках продавали на разлив болгарское красное, венгерское белое, румынское сладкое и охотно шутили с вами, улыбались вам, глядя в ваши восторженные хмельные глаза. Это было давно, и это никогда уже не повторится. Нет уже ни тех девушек, ни ваших восторженных глаз. Да и вина того уже нет. А танцплощадки были огорожены толстыми железными прутьями, благо металлургическая промышленность города поставляла металл в неограниченном количестве. На несколько часов танцплощадки превращались в клетки, словно бы предназначенные для диких и не очень выдрессированных зверей. Преодолевал, преодолевал Шихин эти заборы, перемахивал, рискуя быть пронзенным сразу десятком заостренных штырей. Но надо сказать, что он редко бывал на танцах, и упомянута эта площадка лишь потому, что парк, где она расположена, был хорошо виден с железнодорожного моста, по которому в данный момент проносился Шихин. Что делать, самая невзрачная, ненужная вещь становится дорогой и вызывает трепетные воспоминания, стоит лишь ее потерять.

На перроне сиротливой – а может, осиротевшей? – кучкой остались друзья. К каждому тянулась заветная ниточка, вызывая в растревоженной шихинской душе щемящее натяжение. Что-то было между ними, и это «что-то» не может исчезнуть легко и просто, и никто не может сделать вид, что ничего не было. И даже если они уже не встретятся и не будут друг к другу испытывать никакой привязанности, инте-

рес останется, как к судьбе дальнего, полузабытого родственника. Как он там? Жив? Надо же...

Ванька Адуев стоял на перроне, как всегда величественный и непогрешимый, в светло-голубом тесноватом костюме и с испытующим прищуром глаз. С таким выражением лица он входил на подводной лодке в скалистые фьорды, сажал самолет на заснеженную полосу, сидел в засаде, приставал к женщинам. Никто не знал еще, да и сам Ванька вряд ли догадывался, что совсем скоро он уйдет от своей жены Маши, которая стояла тут же, суматошная, оживленная и любящая Ваню, уйдет к другой женщине, куда моложе и кудравее Маши.

И Селена махала изысканной своей ручкой, не предполагая даже, что скоро она тоже будет жить в Москве и, отряхнув с ног пыль химико-технологических познаний, станет большим специалистом по части кукольных театров. И фамилия ее изменится, и семейное положение — она станет Ююкиной.

Федулов с Федуловой. Он, естественно, прыгал, воздевая руки, а она привычно вскрикивала, повисала на нем, пытаясь заставить вести себя приличнее.

И толстобрюхий Ошеверов. Пьяный, грустный, бородастый. И Костя Монастырский, и Васька-стукач, и Вовушка Сподгорятинский...

Да мало ли их было!

По лицу Шихина хлестали черные тени мостовых ферм, в

глаза били солнечные блики от волн покидаемой реки, в спину толкались взволнованные отъездом попутчики... И тут он понял, что вернуться в город он сможет только гостем.

Никогда ему здесь не жить.

И странно, что так много времени потребовалось, чтобы понять простую истину – ему давно уже здесь нечего делать. Глядя на уменьшающиеся лица друзей, Шихин понимал, что многим из них тоже нечего делать в этом городе, но они не решатся покинуть его. Их нигде не ждали. Вот если бы ждали, тогда другое дело. Это была робость. Пройдут годы, многое изменится, о многих из них Шихин забудет, забудут его, это случается и с самыми близкими друзьями, но робость в их душах останется. Хотя они ни за что не признаются в ней.

Если углубиться в некую внутреннюю, потайную область шихинского сознания, куда он и сам не заглядывал годами, то там мы обнаружим что-то вроде исчерпанности. Здесь была основная причина отъезда. А увольнение, обмен, дом – это все бытовые подробности. У каждого могут угаснуть отношения с ближними, может вымереть город, и самые любимые места делаются бездушными, не вызывая ни волнения, ни трепета. Можешь исчерпаться ты сам – в том качестве, в каком пребывал до сих пор.

Требуются перемены.

Ты чувствуешь это, знаешь – нужна встряска. Да, конечно, приложив некие усилия, нетрудно убедить себя в том, что желание перемен временное, что оно ложное, и если пере-

терпеть, пройдет. И действительно проходит. Ты остаешься. Там, где был, с кем был, каким был. Но это потеря. Ты не стал другим, хотя все естество твое требовало перерождения. Да, ты проявил силу воли, одолел себя. Но свежие ростки, которые выбросила было твоя душа, засохли и отвалились.

Теперь ты чаще оказываешься прав, все реже случаются ошибки, твои заблуждения стали безобиднее, они ничем не грозят тебе, они никому ничем не грозят, и ты склонен в этом видеть достоинство. Милые слабости, невинные причуды, гастрономические капризы – это все, что осталось от твоих безумств и смятений. Ты стал неуязвимее. Всему знаешь цену, трезв, спокоен, сыт. И почти забыл о тех временах, когда до болезненной дрожи хотел перемен в своей жизни. Удалось перетерпеть. Ну что ж, поздравляю. Теперь ты гораздо сильнее. Ты выздоровел. С чем я тебя и поздравляю.

...В Одинцове все было залито солнцем, играли бликами ручьи, разноцветная россыпь пасхальных яиц украшала платформу, и даже в вагонах электрички пол был усеян скорлупой. Катя, выглядывая из окна, радовалась, видя на пригорках первые весенние цветы. Но это были не цветы, это была все та же пасхальная скорлупа. А Шихину она напоминала румяные лица друзей. Сутки назад он видел их на таком же перроне в тысяче километров отсюда. Все были возбуждены вином, растревожены расставанием и тостами. Да, ты уезжаешь, но мы останемся верными и преданными. Ни злые силы, ни корысть, ни слабость не заставят нас усомниться друг

в друге, а иначе зачем жить? Разве не стоило уехать только ради того, чтобы услышать подобное? К Автору, например, никто с такими словами не обращался, и это его очень огорчает. То ли не уезжал он так решительно и бесповоротно, то ли с друзьями ему не повезло.

Шихин с трудом открыл заваленную мокрым снегом калитку, протиснулся в узкую щель и оказался в колючих зарослях боярышника. Среди голых ветвей темнел деревянный дом. Следом в калитку вошла Валя. Последней на участок проскользнула Катя, едва не потеряв очки в ветвях боярышника.

По обе стороны крыльца росли кусты. Серые, колючие, в ключьях чьей-то шерсти. У кустов чернела дыра, и из-под дома кто-то напряженно смотрел на пришедших. Когда Шихин наклонился, в дыре уже никого не было.

– Это розы, – сказала Валя, показывая на кусты. – Хозяйка сказала, что это розы.

– Розы – это хорошо, – ответил Шихин. И поднялся по заснеженным ступенькам на террасу.

На снегу четко отпечатались чьи-то следы. Были и раздвоенные копыта, и сплошные, были следы с подушечками, с коготками, мелкими цепочками тянулись отпечатки лап величиной со спичечную головку, попадались звездчатые следы, оставленные не то петухом, не то вороной. Но больше всего Шихин удивился следам босых человеческих ног. Следы возникали и исчезали без продолжения, тянулись к перилам

открытой террасы и обрывались, начинались у бревенчатой стены и через несколько шагов снова пропадали.

– Их не было, когда я сюда приезжала, – озадаченно проговорила Валя.

– Домовой выходил подышать, – ответил Шихин, взясь с замком.

– Белки! Смотрите, белки! – закричала Катя скорее с ужасом, чем с радостью.

– Да, это белки, – согласился Шихин невозмутимо, но все ликовало в нем, все трепетало в счастливом волнении.

Открыв наконец ржавый замок, он распахнул большую дверь, сколоченную из толстых досок, и ступил в сырую темноту дома. Вначале шли сени, уставленные досками, банками, ведрами, лопатами, потом еще одна дверь – в жилую часть дома.

– Здесь где-то выключатель, – напомнила Валя.

– Найдем. – Шихин принялся шарить в темноте, натыкаясь на бревна, свисающую паклю, торчащие гвозди.

Загорелась маленькая желтая лампочка на длинном мохнатом шнуре. Свет ее не достигал всех углов, но и так было видно, что пол в кухне просел и косо уходит вниз, печь рухнула, сквозь стены в большой комнате пробивались солнечные лучи. Стекол в рамах не хватало, вместо них старушки вставили картонки, но за зиму они промерзли, размокли, покособились, внутрь намело снега. В осевшей печи слышался сильный, быстрый шорох и тут же затих, будто кто-то

замер, готовый скрыться.

– Мыши, – прошептала Катя.

– Нет, скорее, крысы.

– Что же они едят?

– Зимуют, – неопределенно ответил Шихин.

– А теперь, когда мы здесь... они уйдут?

– Трудно сказать... Может быть, им здесь нравится.

– А они нас не покусают?

– Вряд ли. А вот стащить чего-нибудь могут. Это им раз плюнуть. Ну, ничего, разберемся.

Вторая печь была цела, но когда Шихин открыл чугунную дверцу, оказалось, что внутри все завалено сырой слежавшейся сажей. Из печи дохнуло запахом жженных кирпичей, мокрой глины, старого жилья.

– Похоже, старушкам здесь доставалось.

– Под тремя одеялами спали. А вообще... как тебе дом?

– Отличный дом.

– Нравится? – недоверчиво переспросила Валя.

– Никогда не видел ничего более прекрасного.

– А ничего, что здесь... легкий беспорядок?

– Впереди лето, – беззаботно ответил Шихин, чему-то смутно улыбаясь. – Впереди долгое теплое лето. Разберемся.

– Смотри, они оставили нам стол, стулья, лежаки...

А еще старушки оставили настольную лампу, правда разбросанную по углам дома, но все ее части оказались целыми – от молочно-белого колпака причудливой формы до литого

медного основания. Оставили розово-голубую стопку журналов «Китай», где на громадных обложках были изображены то русский с китайцем, по-братски обнявшиеся навек, то щекастые китаянки с нежной кожей, в воздушных одеждах и в таких изысканных позах, что непонятно было, то ли они танцуют, то ли увлекают, как умеют, то ли у них работа такая. На чердаке Катя обнаружила два самовара с царскими медалями, три чугуновых утюга и уйму непонятных вещей, которые хотелось чистить, драить, чинить и расставлять по полкам.

На участке возвышался такой роскошный дуб, что он и поныне снится Шихиным, хотя с тех пор прошло много лет и живут они в грязно-сером пятиэтажном сооружении, оборудованном водопроводными трубами, газом и канализацией. На закате его можно было принять за скалу, ночью он казался фантастическим сооружением, а на восходе походил на сгусток таинственного тумана. А днем, днем он превращался в дуб. Остались после старух и пять антоновок, которые в первый же год принесли столь обильный урожай, что яблоки пришлось ссыпать в дальнюю холодную комнату, и всю зиму оттуда распространялся по дому освежающий запах зелено-вато-золотистых антоновок – легких, бугристых, с медовыми прожилками на срезе. Таких громадных яблок Шихины не встречали в своей жизни, вполне возможно, что таких яблок больше нет и никогда не будет.

А кусты боярышника у калитки! А шиповник! А орешник

с рыжими белками! А малиновые заросли, в которые однажды забрался небольшой медведь, но, напуганный собаками, с шумом и треском умчался в лес. А ель!

Ведь было – стояла посреди заснеженного сада елка в разноцветных новогодних лампочках, увешанная кусочками сала, хлеба, колбасы, и окрестные птицы, привлеченные щедрым застольем, собирались со всего леса. И грудастые снегири слетались, и желтые синицы, нахальные воробьи скандалили с утра до вечера, тяжелые вороны, стыдливо похаживая в сторонке, даже тропинку в снегу протоптали, не решаясь включиться в гам всей этой мелюзги.

Окно из кухни смотрело в дубовую рощу, постепенно переходящую в березняк, в сосняк, а дальше – озера, ручьи, лесные тропинки. Изредка, в тихие зимние вечера, на поляну выходили лоси. Настороженно втягивали воздух трепетными ноздрями и, уловив в нем что-то, снова уходили в лес, не торопясь уходили, с достоинством. Темными тенями скользили между дубами кабаны, казавшиеся в сумерках громадными и опасными.

А вдоль забора к осени появилось видимо-невидимо чернушек. На всю зиму запасались Шихины солеными чернушками. А под елями встречались маслята. А под березами, сами понимаете, подберезовики. А однажды среди всего этого роскошества вымахал огромный белый гриб. О, сколько было шуму, криков, суеты! Прибежали соседи спросить – не случилось ли чего. «Случилось! – отвечали им. – Случи-

лось!»

Но самое главное – за домом оказалась свалка, которая по живописности соперничала с натюрмортами Юрия Ивановича Рогозина. Свалку украшали продавленные самовары, утюги с чугунным кружевом, диковинные бутылки с расprostертыми крыльями императорского орла, были тут потрясающие ручки от чемоданов, ножки от комодов, амбарные замки невероятных размеров, россыпи ключей на все случаи жизни – если вам вдруг понадобится открыть чего запретного, что, как вам кажется, плохо лежит, найдется ключ и для такой надобности. Когда сошел снег и Шихин впервые увидел свалку, дыхание его перехватило от счастья, он сел на траву, не в силах сделать ни шагу, и с полчаса оцепенело смотрел на все эти сокровища. Кстати, здесь он нашел и розовую детскую коляску, в которой выросла его следующая дочь Анна, в этой же коляске он перевозил добро в новое жилье, в то самое сооружение, начиненное унитазами, газовыми плитками и чугунными батареями.

Много чего осталось от старушек, никогда у Шихиных не было столь богатых даров. И не будет, Автору это уже известно. Тогда Шихины не знали еще, что наступили самые счастливые их времена, отведенные высшими силами. Но в то же время ни сам Шихин, ни Валя никогда не считали свои дни в полуразрушенном доме худшими. Ни разу дом не услышал в свой адрес проклятья или просто недовольного ворчания, ни разу бревенчатые стены его не были осквернены раздра-

женным, злым словом.

Всю весну на участке горело пять, а то и шесть костров. Шихин сжигал сушняк, которого в саду накопилось немало, сжигал оставшееся после старушек тряпье, мусор, бумагу, щепу – освобождал дом для новой жизни. Под пол на кухне забивал сваи, приподнимая просевший угол, первый весенний дождь помог ему точно установить, в каких местах течет крыша, а крыша текла во многих местах. Он растапливал смолу и заливал дыры в шиферных листах, подсовывал под них куски черного толя, стеклил окна.

А Валя отмывала полы, стены. О, как засветились бревна после теплой воды со стиральным порошком, какими ясными стали окна, когда сквозь чистые стекла в дом хлынул солнечный свет, как приблизился к окнам лес, какой просторной, какой деревянной стала кухня, когда пол вспыхнул теплым сосновым светом, как заблестела под дождем тропинка в саду и позвала, позвала...

Простите, ребята, не могу остановиться.

Так исстрадался в известковых стенах, среди бетонных лестниц и заплеванных площадок, что, рассказывая о деревянном доме, отдыхаю душой, кажется, будто и мне позволено будет когда-нибудь вселиться в такую вот завалюху и посвятить жизнь ее восстановлению, чего не бывает... Но сам-то наверняка знаю – не будет этого. Тысячи опустевших домов гниют, однако говорят, что если их отдать людям, то государство наше может ущерб понести, а то и вообще рух-

нуть. Весь мир победить можем, а вот домишки такие, оказывается, таят в себе опасность. И таят. Поскольку дают человеку иные ценности, иной отсчет, иное к миру и к себе отношение...

А это был настоящий бревенчатый дом. Терраса, потом сени, коридор, который по нынешним временам обязательно переделали бы в две-три комнаты, кухня... Одну эту кухню можно назвать дачей, и никак не меньше. Три окна выходили в сад. Стоило их распахнуть, и в дом бесшумно вламывались цветущие яблоневые ветви, комнаты наполнялись запахом холодных осенних антоновок, покрытых ночной изморосью, шумом дождя, невнятным шелестом мокрой листвы, летним зноем, настоящим на цветах шиповника. И хотелось прислониться к бревнам, прижаться к ним спиной, затылком, закрыть глаза и замереть, ощутив себя частью стен, бревен, сада, дубравы...

Старушки не отходили от крыльца более чем на несколько метров, и весь участок постепенно превратился в настоящий заповедник. Зверье наслаждалось полной независимостью, никто не зарился на их шкуры, рога, мясо. Забор в нескольких местах был завален лосями, под орешником можно было увидеть рытвины, оставленные кабанами, белки проносились в ветвях легко и невесомо. Искорками вспыхивали они в ореховых зарослях, появляясь и исчезая быстрее, чем глаз успевал привыкнуть к их изображению. И ежей оставили Шихиным добрые бабушки. Стоило вечером неподвиж-

но постоять среди деревьев несколько минут, как все вокруг наполнялось шорохом, деловым таким, озабоченным, торопливым шорохом ежей.

На участке было две калитки. Одна выходила на небольшую улочку, по которой разве что иногда пройдет бабуля с сумкой или с бидоном молока, пронесется велосипедист, поскрипывая несмазанной цепью, пробежит по горячей пыли беспризорная собака. Вторая калитка вела в дубовую рощу, такую чистую и свежую, будто ее каждое утро выскребал усердный и неутомимый садовник. Из плотного покрова травы прямо в небо росли громадные дубы. Не думаю, что Королевский парк, Булонский лес, Альгамбра или Боробудура выглядят величественнее. И Аристарх заверил меня, что это действительно лучшая в мире дубрава. Иначе не свели бы ее за одно лето под строительство какого-то загадочного пансионата. Поговаривали – для работников по части техники безопасности. Конечно, работа у них ответственная, все мы держимся только благодаря их неустанным заботам, но пансионат можно было построить в двухстах метрах, и не пришлось бы бульдозерами выкорчевывать вековые корневища, не пришлось бы взрывать эти дубы, как взрывали церкви. Взорвали. Ямы бульдозерами засыпали, страшные шрамы на травяном покрове подровняли и загладили, месиво из глины, корней, ветвей вывезли грузовиками...

Ладно, не будем.

До этого еще далеко.

Дубрава стоит, гудит сильный ветер в мощных ветвях, несокрушимо возвышаются стволы, бродят на рассвете невозмутимые лоси. И дом еще стоит, и окно из кухни светится оранжевым теплым светом, единственное окно среди заснеженных дубов, зеленых дубов, среди засыпанных желтыми листьями дубов, среди дубов, заливаемых дождем, тускло отражающихся в весенних лужах... Это окно и поныне светится где-то в подсознательных шихинских глубинах.

А как тревожен был и зовущ гул ночных электричек, сколько в нем было тоски, стремления к несбыточному! Электрички будто врывались в тебя, чего-то требовали, куда-то звали, обещали. И охватывала счастливая смятенность. Потом что-то произошло, что-то случилось не то с электричками, не то с тобой – гул стал словно бы тише, его не всегда и услышишь, неделями не замечаешь, да и нет уже в нем ничего...

Подушкинское шоссе, шесть...

Завораживающее звучание этих слов до сих пор заставляет Шихина остановиться, замереть и сквозь блочные стены соседней пятиэтажки увидеть деревянный дом в вечерних сумерках, услышать голоса в саду, шорох осенних листьев, когда идешь невидимый и как бы несуществующий сквозь деревья. В самих словах слышится шелест листвы – Подуш-ш-ш-кинское ш-ш-шоссе, ш-ш-ш-шесть...

Долго Шихины не могли познать все чердачные тайны, столько там было всего. Старые журналы со следами преж-

ней жизни, сундук, наполненный ненужными ныне вещами, нашелся даже орден «Материнская слава» — кто-то славно рожал в этом доме, здесь звенели детские голоса, грохотали шаги, что-то утверждалось и рушилось. В какой-то чердачной щели Катя нашла толстую книгу в кожаном переплете. Оказалось, «Хиромантия». Книга была полна запретных предсказаний, примет, книга все знала о Шихиных — что ждет их, через что им пройти придется и чем все кончится. На жутковатых страницах с обгрызенными временем краями изображались человеческие ладони, линии бед и смертей. От книги исходило ощущение проклятья. Наверное, не каждому позволялось вчитываться в ее тайны, должен был возникнуть какой-то знак, дозволение. Но поздними зимними вечерами, когда вьюга была так близка, что слышалось поскребывание жестких снежинок в стекло, Шихин усаживался под абажуром, на деревянный стол укладывал темный том и с холодком в душе рассматривал линии судеб, сверяя их с собственной ладонью. Хотя и молчал он о том, что открывалось ему на колдовских страницах, напрасно он это делал, ох, напрасно. Тогда судьбы еще прятались в книге, таились в переплетении букв и рисунков, теперь их там нет. Они вырвались на свободу, вмешиваются в жизнь, путая надежды, привязанности, приближая то, чему положено быть через годы и годы...

...Проходя как-то по улице Правды, я увидел, что окна полуподвальной рогозинской мастерской призывно светятся

зеленым светом. Поначалу мне показалось, что я ошибся – слишком долго его не было, и, приходя сюда, я натыкался на темные холодные окна, затянутые железными полосками, и запертую дверь. Но нет, все правильно – рядом булочная, через перекресток молочный магазин, вот и его дверь, исколотая кнопками, – Юрий Иванович имел обыкновение, уходя, прикреплять записки к двери, ему тоже прикалывали послания, некоторые его гости таким образом переписывались между собой, сообщали телефоны, назначали встречи, сговаривались, куда отправиться на этюды в ближайший выходной.

Так и есть – Rogozin вернулся с Мангышлака, и мастерская его была, как обычно, полна народу. Кипел чайник, стол ломился от пряников и леденцов, скромные девочки, положив на тревожащие их самих коленки замызганный альбом живописца Шилова, изданный, между прочим, в Японии, несмело поругивали знаменитость за отсутствие полета, за лстивость и угодливость, сам Юрий Иванович носился по мастерской, заваривал чай, мыл чашки, и его седоватая борода развевалась от быстрых и порывистых движений. Тут же сидела странная дама средних лет – она тайком ото всех, а может быть, и от себя тоже, писала что-то о Юрии Ивановиче и все выпытывала, впитывала, пытаясь проникнуться атмосферой мастерской. Слава Кочин, только вернувшийся из гастролей по Англии, сидел, рассеянno пощипывая изысканную бородку, словно никак не мог понять: куда делась

королева, куда запропастилась Марго Тэтчер, ведь только что они были рядом, улыбались ему, хвалили его мастерство и, похоже, намеревались всегда быть рядом. Молча, с каменным лицом сидел разжалованный, раскосый прокурор из Алма-Аты. В невероятно изящной позе откинулся в кресле чемпион Мавритании по шашкам Али Абидин.

И так далее. Перечислять всех нет никакой надобности. Но прошу заметить: всех этих гостей вы действительно можете встретить в рогозинской мастерской. И не только этих. Если вас больше устраивает директор издательства «Правда», командир подводной лодки или будущий глава правительства Удмуртии – прошу!

– О! Кто пришел! – закричал Юрий Иванович, увидев меня в дверях. – Сколько зим! Чайку маханешь? Махани, махани! Без чая жизнь плохая!

– Махану, – ответил Автор, присаживаясь на угол серого дивана.

Девочки, рассматривавшие совершенно голую шиловскую тетеньку, лежащую уже в постели, застеснялись, зарделись и сдвинулись в сторону. После того как Даная погибла в кислотных пузырях полового бандита, который тронулся умом, глядя на нее, Шилов своими скромными усилиями, видимо, решил возместить эту потерю человечества.

– Это, простите, маха? – вежливо спросил Автор.

– Ты чайку махани, а маху потом! – засмеялся Юрий Иванович, и все засмеялись невинности его шутки.

Стены мастерской были увешаны картинами, многие из них побывали на выставках, опубликованы в альбомах, в журналах, весь угол занимал станок для литографии, в центре стоял мольберт, на стене тикали часы и, как обычно, отставали часа на полтора. Все знали об этом, но почему-то верили часам, поглядывали на них, собираясь выскочить позвонить в назначенный час из автомата, торопясь к электричке на соседний Белорусский вокзал, прикидывая время до закрытия метро, до последнего автобуса. И надо же, все получалось, никуда не опаздывали. По кругу у стен, у столов, у стульев стояли новые работы, как выяснилось, привезенные с Мангышлака, куда Юрий Иванович ездил в командировку, чтобы воспеть этот забытый богом и людьми край. На листах были изображены лунные скалы, мертвые пески, кратеры, барханы, провалы в земле, причудливые итоги выветривания и вымывания. Юрий Иванович уже успел оформить свои листы, вставил их под стекло, подобрал рамы.

Ввалились несколько молодых художников – в джинсах, кроссовках и солдатских шинелях. Они хохотали, вскидывали тощими коленками, трясли юными бородами, были румяны и веселы. Как выяснилось, художники только из соседней бани, от них еще шел дух распаренных веников. Готовые над чем угодно посмеяться и кого угодно с чем угодно поздравить, они были настолько доброжелательны, что невольно напрашивался вывод: не приходилось, ох, не приходилось им еще отстаивать себя, переносить унижения и обиды, да и

серьезные победы вряд ли были у них за плечами. Победы ничуть не меньше, чем поражения, излечивают от столь щедрой веселости. Наверное, они были хорошими людьми, но пока это не имело значения, поскольку никак не отражалось ни на их делах, ни на жизни близких. В таком возрасте еще не происходит разделение на плохих и хороших. Это случится потом, и превращения возможны самые неожиданные. Но не будем каркать, пусть они остаются наивными и смешливыми – эти качества, случается, сопутствуют и настоящим талантам.

Был среди художников и сын Юрия Ивановича, Михаил, но звали его почему-то Мефодием, и, похоже, тому это нравилось. С ним пришел худощавенький парнишка со светлыми волосенками и курчавой бородкой. Оказалось – Таламаев, актер, совсем недавно сыгравший Михаила Васильевича Ломоносова и своей игрой наделавший много шума в некоторых московских гостиных. Спектакль был с чертовщинкой, среди героев мелькали и цари, и шуты гороховые, и не всегда их можно было различить, небесные пришлилицы неземной красоты, блуждающие во времени возлюбленные поэтов, императрица Екатерина и опять же Михаил Васильевич. Об этом можно бы и не говорить, но неожиданно обнаружилось, что императрица и ученый уже возникали на страницах этого повествования, более того, Автора гложут предчувствия, что они возникнут опять. Поэтому появление в мастерской актера, сыгравшего Ломоносова, Автор

воспринял как предупреждение.

И правильно сделал.

Это и было предупреждение.

Вот так все сидели, пили чай, болтали о мангышлакских диковинах, о шиловской махе, девочки с пылающими коленками продолжали осуждать этого выдающегося живописца, вслух подсчитывали волосенки в бородах и шевелюрах его портретов, оказалось, это вполне возможно, Юрий Иванович опять наполнил электрический чайник, и из его никелированного носика уже была нетерпеливая струя пара, юные художники, распахнув шинели, весело хохотали друг над другом... И тут вдруг открылась дверь, будто ее распахнуло сильным порывом ветра, и вошел еще один человек. В синих джинсах, в синей вельветовой рубашке с «молниями» и перламутровыми пуговицами, оправленными в металл. Вначале я увидел только эту рубашку и сразу почему-то подумал, что мне такой никогда не иметь. Человек посмотрел на меня и сказал:

– Ничего. Перебьешься. Я тоже ее не сразу достал.

– Вы о чем? – спросил я, чувствуя в груди холод.

– О рубашке, – ответил он. И протянул руку: – Аристарх.

– Очень приятно.

– Приятно? – удивился Аристарх, но продолжить не успел, потому что к нам подбежал Юрий Иванович.

Бородой трясет, глазками улыбается, щечки горят, да-да, говорит, знакомься, пожалуйста, это наш новый друг, Ари-

стархом зовут, у него жена в соседнем детском саду работает. И дальше выясняется, что, когда Аристарх приходит за женой слишком рано, идет в мастерскую, пьет чай и рассказывает всякие истории из милицейской жизни.

Да-да, Аристарх – лимитчик, в милиционеры пошел, чтобы получить прописку, а в Москву хочет, потому что в других местах ему показалось скучновато, он уже забраковал Бангкок, Багдад и Бремен, и даже Севилья ему не понравилась жарой и бестолковостью. Разумеется, я сразу сообразил, что ребята без меня раздавили пару бутылочек и теперь не прочь потрепаться и припудрить мозги кое-кому, то есть мне. И не стал цепляться к словам Юрия Ивановича, тем более что и Аристарх отнесся к ним невозмутимо, словно и не о нем речь.

– Между прочим, Аристарх обладает удивительными способностями, – начал было Юрий Иванович, но тут же умчался к чайнику, который, похоже, потерял всякое терпение и прыгал на каменных плитах, брызжа пеной и паром.

И снова мы пили чай, говорили о том, кто, где и с кем банился, румяные тощеногие художники и с ними Таламаев сидели в ряд на диване, о чем-то тихо шептались, потом начинали как-то самозабвенно хохотать. Девочки, накрыв Шиловым коленки, смотрели на них опасливо, но без осуждения.

– Новая работа? – спросил Аристарх у Юрия Ивановича, показывая на застекленные коричнево-зеленые провалы

в земле.

– Да, Мангышлак, – кивнул Юрий Иванович. И не удержался, чтобы не добавить обычную свою присказку: – Без пейзажа жизнь плохая, не годится никуда.

– Мангышлак? – удивился Аристарх и с сомнением посмотрел на Юрия Ивановича. – А ты уверен... что это не Луна?

– Откуда?! Кто меня пошлет на Луну! Туда знаешь какие командировочные? Шилова пошлют, Глазунова пошлют, дорогу оплатят, суточные... А меня... Чайку маханешь?

– Ладно, – Аристарх махнул рукой. – Не будем об этом... А что там за растительность в углу возле самой рамки? – спросил он равнодушно, без интереса, просто чтобы снять неловкость.

– Это так... Для компоновки. Без компоновки жизнь плохая...

– Но ведь деревья на том обрыве не было, ты его придумал, – с еле заметной укоризной заметил Аристарх.

– Откуда ты знаешь? – В голосе Юрия Ивановича было примерно равное количество озадаченности и заинтересованности.

Аристарх подошел к картине, поводит над стеклом раскрытой ладонью и вернулся к своему чаю.

– А кто стоял за спиной, когда ты рисовал эти ущелья?

– Краюшкин, – быстро ответил Юрий Иванович. – Николай Григорьевич Краюшкин. Я давно его знаю, мы туда вме-

сте ездили. И у него командировка, и у меня. Он раньше в Калининском училище преподавал. – Юрий Иванович даже не заметил, как начал оправдываться, будто хотел заранее отместить подозрения.

– Тогда понятно. – Аристарх взглянул на часы, отстающие на полтора часа, и продолжал прихлебывать чай, кусать пряники, разворачивать карамельки, но разговоры в мастерской смолкли. Художники перестали хохотать, девочки тихо прикрыли японский альбом Шилова, невозмутимый лик алма-атинского прокурора медленно поворотился к Аристарху, и все остальные уставились на Аристарха, ожидая еще каких-то слов, потому что сказанное требовало пояснения. Возникла невнятица, когда вроде бы ничего не произошло, но всем ясно – ни в какие ворота. Аристарх, видимо, ощутил на себе общее внимание, оглянулся обеспокоенно, как человек, брякнувший невзначай бестактность.

– Я смотрю, кто-то за спиной стоит, вот и поинтересовался... Хорошая работа, тебе удалось, в общем-то, отразить... Я только подумал – не Луна ли... Если говоришь, Мангышлак, пусть будет Мангышлак, хотя я и не уверен... А человек, который стоял за твоей спиной...

– Он тоже рисовал! – крикнул Юрий Иванович несколько нервно. – Маслом! А я – гуашью!

– Возможно, – кивнул Аристарх. – Потом вы быстро закончили работу, свернулись в пять минут и ушли. Что-то вам помешало... Вот из-за этого холма появилось... Какая-то

неожиданность, явление, человек... А?

Художники дружно взбрыкнули, захохотали и тут же смолкли, уставившись на Аристарха глазами, в которых был еще смех, но уже начал появляться и ужас.

– Никакого явления там не было, – твердо сказал Юрий Иванович, будто кто-то заставлял его давать показания не в свою пользу, что, между прочим, запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации.

– Ну как же, – мягко проговорил Аристарх, – вы с Краюшкиным работали, собирались еще часа полтора-два побыть на этом месте, а потом вдруг ушли. Вам помешали. Возникло явление. Вот здесь. – Аристарх поднялся, подошел к картине и показал точку на вершине холма.

Юрий Иванович замер, мысленно перенесясь в тот день, на прожженный солнцем полуостров, и вдруг лицо его расплылось, розовые щечки проступили из седоватой бороды.

– Ну, ты даешь! – воскликнул он. – Какое же это явление... Председатель исполкома пришел!

Художники засмеялись облегченно, обрадовавшись, что все объяснилось так просто, девочки, переглянулись без всякого выражения, Али Абидин вежливо улыбнулся, не поняв ровным счетом ничего из происшедшего.

– Вот я и говорю, – невозмутимо продолжал Аристарх, не обратив ни малейшего внимания на присутствующих. – И жизнь ваша после этого изменилась. К лучшему, – добавил Аристарх, взяв чайник и долив кипятка в стакан.

– Точно, – кивнул Юрий Иванович. – Он пришел и сказал, чтоб мы собирались быстрее, есть возможность поселиться в гостинице. И еще разрешил питаться в райкомовском буфете. Ничего особенного там не было, но хоть молока, кефира, творога возьмешь... А мне больше ничего и не надо.

Странный это был вечер. За окном проносились маршрутные такси в сторону площади Пушкина, рядом работал комбинат «Правда», сообщая человечеству о потрясающих новостях (американцы вошли в Персидский залив, афганские душманы сбили транспортный самолет, в Мекке погибло несколько сот паломников), рядом хлопали двери булочной, мимо окна проходили люди, а здесь, в полуподвале, происходили события, которые начисто переворачивали все мои представления о человеческих возможностях. Постепенно гости расходились, Рогозин со всеми прощался церемонно, приглашая еще заходить, напоминая, что без чая жизнь плохая. Потоптавшись у порога, ушли девочки, пообещав снова прийти посмотреть Шилова, ушел на репетицию Слава, уехал на заказном такси Али Абидин, как-то незаметно сдуло ветром художников. Таламаев зазвал их на спектакль, где мертвая панночка три ночи подряд соблазняет, и небезуспешно, живого философа Хому, что его и погубило в конце концов. Да только ли его! А мы, ребята, а мы?! На чем гибнем мы, философы, мыслители, вольнодумцы!

Ладно.

Вскоре мы остались втроем – Юрий Иванович, Аристарх

и я. Аристарх был гладко выбрит, художав, носил короткую прическу, один зуб у него был железный, но какой-то радужный, вроде маленького яичка. Оказывается, Аристарх не только охранял общественный порядок в Москве, но и баловался живописью, и у него с Юрием Ивановичем завязался разговор о голландской гуаши, китайском колонке, красках, кистях, холстах, а я отвлекся, рассматривая северные пейзажи, развешанные на стенах, потом забыл и о них, как-то незаметно скатившись к привычным своим мыслям, довольно невеселым, да и бывают ли свои мысли веселыми? И вдруг ощутил на колене руку Аристарха.

– Ничего, – сказал он. – Все будет в порядке.

– Ты о чем?

– О ней. – Он улыбнулся. – Ты получишь все, кроме одного.

– Кроме чего? – спросил я, хотя сразу подумал тогда, что не следует спрашивать, нельзя мне было знать ответ. Но, с холодком в груди, я все-таки задал вопрос, понимая, что нарушаю какие-то законы бытия, что моя поспешность не пройдет безнаказанно, и, забегаая вперед, могу признаться – все так и было. – Кроме чего? – повторил я, видя, что Аристарх замялся.

– Кроме радости, – ответил он. – Счастья не будет. Но все пройдет. Отпустит.

– Неужели пройдет? – спросил я с надеждой. Да, тогда я был в таком состоянии, что мог спросить и с надеждой. –

Точно отпустит?

– Быстрее, чем ты сам того захочешь.

– Разве я к этому стремлюсь?

– В этом твое спасение.

– Ты уверен, что я хочу спастись?

– Это не имеет значения. Однажды увидишь, что на кону ничего нет и ворота открыты. Ты выйдешь через эти ворота и пойдешь к реке. Босой и продрогший. И наступит освобожденность. Но она не будет радостной.

Мы помолчали. После такого разговора трудно говорить о чем-то другом. Потом я подумал, что уж если Аристарх, злоупотребив своими возможностями, посмел влезть в мои терзания, то не грех и мне спросить его о чем-либо.

– А почему тебя зовут Аристархом? Это твое настоящее имя?

– Конечно, нет. – Он улыбнулся. – Но, согласишься, если бы меня звали Колей, Петей, Федей... Это было бы глупо. А так – ничего. Я привык, и ты привыкнешь. – И впервые за весь вечер в его взгляде промелькнула нечеловеческая твердость. Во всяком случае, я увидел нечто такое, что убеждало – он знает, что говорит.

– Думаешь, привыкну? – спросил я растерянно.

– Мы будем с тобой встречаться... Иногда. И сегодня я заглянул сюда ради тебя.

– Ради меня?!

– Да, – кивнул Аристарх. – Ты позвал. Я пришел.

– Но я и сам не знал, что буду здесь! Зашел в правдинский гастроном за сыром и увидел, что окно у Юрия Ивановича светится. А направлялся к Белорусскому вокзалу, на одинцовскую электричку...

– Все это неважно, – отмахнулся Аристарх. – На земле много необычного, такого, чего в земной природе быть не может. Но люди по своей ограниченности не видят нарушений законов бытия, всему нашли объяснения, удовлетворились ими и успокоились. Перед ними загадки совершенно невероятные, а они с легкостью подбирают несколько терминов позаковыристее – и все, готово, научно растолковали. Ну, ладно, я отвлекся. Давай к делу, а то мне уже пора. Значит, договорились? Поработаем?

– Поработаем, – ответил я, еще не представляя толком, что стоит за моим согласием, к чему оно меня обязывает, чем грозит.

– Хорошо. Начнем. Нужно место, где бы они могли встретиться и без помех выяснить отношения. В конце концов, человеческое общение сводится к выяснению отношений. У тебя есть такое место?

– Есть. Дом в Одинцове. На Подушкинском шоссе.

– Ты его хорошо знаешь?

– Дом? Знаю. Я три года прожил в нем.

– А что вокруг? Дома, улицы, город?

– Да, но рядом лес, дубовая роща, дальше березняк...

– Лес? – переспросил Аристарх. – Дубовая роща? Годит-

ся, это подойдет.

– Рядом свалка.

– Свалка не помешает. Она придаст еще одно толкование... Они будут стреляться?

– Конечно! Иначе все теряет смысл.

– Правильно, – одобрил Аристарх. – Пусть стреляются.

– Согласятся ли вот только... Нынче как-то не принято...

– В наше время тоже стреляются. Не часто, не все, не всегда... Но стреляются.

– И потом, надо же их как-то всех собрать, причем чтобы это выглядело убедительно, достоверно, правдоподобно...

– Не думай об этом, – поморщился Аристарх. – Собрались – и все тут. Причин – хоть отбавляй. Иван Адуев привез дочку в институт устраивать. Конечно, она не поступит, но они приедут. Ошеверову я устрою командировку в Москву, пусть привезет какой-нибудь важный народнохозяйственный груз. Рыбу, например, из Грузии. Морского окуня. Ююкины к тому времени сами в столицу переберутся, а в Одинцово они приедут как на дачу, воздухом подышать, о чем-то возвышенном потрепаться. Пусть покажут свою одухотворенность, незаурядность, что там еще у них есть?

– Спесь, – подсказал я.

– Пусть и спесь покажут, – согласился Аристарх. – Кто тебе еще нужен? Федуловы? Эти вообще не подчиняются никаким разумным закономерностям, их поступки предсказать невозможно, их мнение о чем бы то ни было меняется в за-

висимости от атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и так далее. Шелупонь. И говорить о них не стоит. Не появятся – черт с ними. Монастырский приедет пробивать свой новый экономический закон. Приедет к академику Благодееву, а остановится у Шихина, негде ему больше в Москве остановиться. Васька-стукач, сам понимаешь, по делу приедет. Ему отчет писать надо об умонастроениях своих ближних. Он и не захочет ехать, а приедет. В командировку его пришлют. Возможно, еще кто-то заявится – не думай об этом. Причины, объяснения будут у всех, это я беру на себя. Главное в другом – выстрелы. Должны прогреметь выстрелы. И взлетят вороны. – Аристарх поднялся, лицо его напряглось, стало взволнованным. – И взлетят пыльные вороны над мусорными ящиками, истерично залают беспородные одинцовские собаки, забыв захлопнуть двери, сорвется с места и унесется в предрассветный туман голицынская электричка, вспыхнут окна в ближних домах и приникнут к ним плоские заспанные лица. И рухнет в высокую росистую траву...

– Кто рухнет? – успел вставить я.

– Кто хуже стреляет, – ответил Аристарх недовольно – ему, видимо, хотелось подробнее рассказать о своем предвидении.

Он снова посмотрел на часы. И вышел так легко и спокойно, будто в мастерской, кроме него, никого и не было. А Юрий Иванович отнесся к его уходу равнодушно, будто и не

видел Аристарха, не слышал нашего разговора.

Мы выпили еще по чашке чаю, съели по прянику, по карамельке, и я начал прощаться.

– До скорой встречи! – как всегда радостно, воскликнул Юрий Иванович, пожимая мне руку жесткой и сильной ладонью.

На улице была глубокая ночь. Ни одного прохожего, ни одной машины. Над корпусом «Правды» висела круглая луна непривычно оранжевого цвета. Да и размер ее показался мне несуразно большим. Я оглянулся – зеленое окно мастерской было темным. Наверное, Юрий Иванович уже лег спать, он часто оставался здесь на ночь. Булочная тоже давно закрылась. Мимо меня тихо прошуршала черная правительственная «Чайка», но выглядела она почему-то длиннее обычной и чуть приземистей. Я хотел проголосовать, вдруг водитель подвезет до Белорусского вокзала, но неуверенно опустил руку – сквозь затемненные стекла мне не удалось увидеть ни водителя, ни пассажиров. Непонятно все это было, казалось, я просидел в мастерской не более часа, время должно быть не поздним, обычно в такой час и прохожих полно, и магазины еще работали.

Поколебавшись, я зашагал к вокзалу. У пустой платформы стояли ярко освещенные вагоны электрички. Двери были распахнуты, на табло четко светилось слово «Одинцово». Я вошел в последний вагон, и двери тут же захлопнулись. Электричка тронулась с места. Решив, что в Одинцове мне

удобнее выйти из первого вагона, я двинулся через весь состав. И ни в одном вагоне не увидел ни единого попутчика.

Да, ребята, да!

Автор ехал один в этом поезде.

И не охватило его жутковатое чувство, и не был он ни-сколько удивлен этим обстоятельством, будто всегда ездил домой в личной электричке. Она исправно останавливалась на всех указанных в расписании станциях, платформах, распахивались двери, грохотал голос диктора, объявлявшего остановки, но ни один человек так и не вошел. Выйдя из вагона на конечной станции, я заглянул в окошко машиниста. Его там не оказалось. Электричка была пуста.

И вот настало лето, настал час, когда линии судеб наших героев, умчавшись в космическое пространство и проблуждав там среди звезд и туманностей, среди бурлящего вакуума и молчаливо затаившихся черных дыр, начали возвращаться на землю, пересекаясь неподалеку от Москвы в небольшом городке Одинцово над домом под номером шесть по Подушкинскому шоссе.

Внешне ничего не изменилось ни в доме, ни в жизни хозяев. Шихин не обладал способностями моего друга Аристарха и в упор не видел разноцветных линий, тянувшихся со стороны красивой, но невидимой туманности Андромеды к кирпичной трубе его дома. Голый до пояса, в рваных тренировочных штанах, давно превратившихся в некое подобие растянутых колготок, Шихин таскал в мятых ведрах кирпичи, разбирая рухнувшую печь. В доме стоял устойчивый запах сажи, пережженных кирпичей и той сырости, которая бывает на месте развороченного жилья. Печи, как оказалось, были во всех трех комнатах, но одну из них Шихин решил выбросить начисто, дыру заделать досками, пол выкрасить и оставить комнату свободной. А если уж слишком прижмут морозы, ее можно будет запереть до весны. За лето он привык к этой комнате, к яблоневым веткам, стучавшимся в окно, впрочем, лучше сказать, что ветви скреблись, да-да, дерево

было старое, при небольшом ветре усохшие ветви именно скреблись, а в мае, когда яблоня покрылась большими белыми цветами, они раскачивались прямо в комнате, проникая через распахнутое окно. Часто, войдя в комнату, Шихин не мог выйти – садился на пол у противоположной стены и неотрывно смотрел на яблоневые цветы, слушал гул залетающих жуков и блаженно улыбался. Входила Валя и, постояв, присаживалась рядом. Потом их находила Катя и тоже, не говоря ни слова, присоединялась к родителям. На японский манер они называли это весенним любованием яблоневыми цветами.

Валя вскопала две грядки, посадила лук и петрушку, а когда наступали сумерки, поливала их колодезной водой. В синеве сада светились розовые флоксы – они выросли сами по себе, их тоже оставили старушки. Вечерами под темными деревьями что-то шуршало, там шла своя жизнь, неизвестная, таинственная, и, вслушиваясь в шорохи, Шихин чувствовал себя польщенным – значит, невидимые обитатели решили остаться. На крыльце лежала собака – рыжая, мохнатая и жизнерадостная. Свесив язык в сторону, она поглядывала в сад с деланным равнодушием, прекрасно зная, что под деревьями возятся ежи, но вреда хозяевам они не принесут и ей до них нет никакого дела. Собаку звали Шаман. Знатоки утверждали, что у нее невероятный нюх и на охоте ей цены нет. Говорили, что она может идти по нижнему следу, по верхнему, может идти за зверем или за человеком

без всякого следа. Когда я заговорил об этом с Аристархом, он сказал, что такое вполне возможно, более того, что и он запросто может проделать то же самое. Правда, добавил, что нюх, запах здесь ни при чем, дело в другом – живое существо оставляет в пространстве психическую энергию, которую улавливают собаки и особо одаренные люди.

Первая линия пересекла небо и вонзилась в сад рядом с дорожкой, которую Шихин выложил кирпичами, оставшимися после разборки печи. Линия была слегка лиловая. Никто ее не заметил, только Шаман обеспокоенно встал, гавкнул в глубину сада и снова лег. Но не было уже в его взгляде прежнего благодушия. Через некоторое время он опять поднялся, сбежал с крыльца, пригнувшись, прошел по дорожке, опасливо оглянулся и, вернувшись на террасу, улегся подальше от ступенек, косясь в сад черными негритянскими глазами.

А линия продолжала светиться, становясь все ярче, и напоминала уже тонкую стеклянную трубку, из которых делают рекламные буквы, наполнив их неонами и подключив электричество. Линия почти вертикально уходила вверх и постепенно слабела, растворяясь в ночной темноте. Проследив взглядом за ее направлением, можно было убедиться, что уходила она куда-то в пустоватую часть звездного неба – не было там ни ярких звезд, ни созвездий с древнегреческими названиями. Аристарх как-то рассказывал, что светящаяся линия судьбы возникает, когда ее обладатель где-то

недалеко, когда он уже присутствует здесь мысленно. Причем линия бывает тем ярче, чем сильнее его желание при-
быть, когда он внутренне как бы встречается с хозяевами, хотя на самом деле может находиться достаточно далеко. Но если линия возникла, вспыхнула, значит, ничто уже не помешает ему – ни авария, ни болезнь, ни подлые замыслы. Он уже здесь, и дело только за временем, необходимым для того, чтобы его телу преодолеть оставшееся расстояние.

Действительно, когда сумерки в саду сгустились до синевы, звезды налились ясной чистой силой и на одинцовские улочки опустилась ночная тишина, изредка разрываемая гулом электричек да пассажирских поездов из Бремена, Берлина, Бреста, Подушкинское шоссе озарилось вдруг вспышками света, послышался грохот мощного мотора, и по деревьям, по заборам, по стенам дома полоснул слепящий свет фар. Сияние приближалось, становясь все более нестерпимым, потом оно замерло, словно в неуверенном раздумье, раздался железный грохот открываемой кабины, и прозвучал голос, сипловатый, знакомый, но все-таки еще неузнаваемый голос:

– Эй, люди! Это Подушкинское шоссе?

– Оно! – крикнул Шихин, стоя посреди освещенной террасы в своих тренировочных штанах и в клетчатой рубашке нараспашку. И почему-то заволновался, словно ощутив приближение событий.

– А номер какой? – продолжала допытываться сиплая

ночь.

– Шестой!

– Тогда я приехал, – удовлетворенно проговорил голос.

Мотор смолк, через некоторое время погасло сияние. В темноте за забором слышалась какая-то возня, железные удары, сопение. Подбежав к калитке, Шихин увидел, как из кабины необъятного грузовика на землю тяжело спрыгнул человек в комбинезоне. Толстоватый и неуклюжий, он с силой захлопнул дверцу, повернул ключ, для верности подергал ручку.

И лишь тогда Шихин узнал Ошеверова. Тот уже успел к этому времени посетить Мангазею, разочароваться в Ханты-Мансийске, а Салехард покинул в двадцать четыре часа, как персону крайне нежелательная. Окончательно обнищав, он удирал первым попавшимся самолетом, едва успев собрать в рюкзак свои пожитки, боясь передумать и вернуться. Злой, бородатый и пьяный, Ошеверов успел еще на прощание выпить с такими же неприкаянными ловцами собственных судеб, оборванный и обворованный, он ввалился в самолет, бухнулся в кресло, сунул под ноги тощий рюкзак и, откинувшись на спинку, закрыл глаза. Грудь его вздымалась, глаза под веками беспокойно двигались, пальцы намертво вцепились в подлокотники – попробуй оторви, попробуй высади!

Представить это нетрудно, мы все убегали, спасались бегством от погони, позора, пожара. Мы все испытывали счастье

ливое облегчение, когда самолет, закончив наконец бесконечные маневры на летном поле, прогрел моторы, в чем-то убедившись и в чем-то уверившись, трогался с места, набирал скорость, отталкивался пузатенькими колесиками и уходил, уходил к чертовой матери, в небо, в тучи, в звезды, в черные беспросветные дыры. Помните, как бешено колотилось сердце, как били в нем литавры, гудели барабаны, ночными совами ухали трубы, и протискивался в пространство слабенький самолетик, и тонкая, еле слышная свирелька начинала звучать где-то в груди – упованием на удачу, на счастье и покой.

Вот вам и Ошеверов.

А мы лучше? Хуже?

Ничуть, ребята, ничуть.

Побыв недолго режиссером телевидения, потерпев поражение в аквариумных аферах, занялся Ошеверов междугородными перевозками. Так что сделать крюк в сотню километров для него не составляло большого труда.

Когда вслед за Шихиным прошел Ошеверов в калитку, она сама захлопнулась за его спиной на косых петлях. Не зная, где пригнуться, где отвести невидимую ветку, он с треском продирался на свет маленькой лампочки, на радостный лай Шамана, на голос Вали.

– Забогатели, помещики поганые, – ворчал Ошеверов, борясь с колючими зарослями боярышника. – Ишь, размахнулись, ишь, разгулялись... Не пробиться к ним... Псов кро-

вожадных завели, чтоб добро охраняли... Видать, немало добра нажили-скопили... Ишь... – Неожиданно кусты раздвинулись, и Ошеверов увидел мерцающие в темноте флоксы, увидел деревянное крыльцо, террасу, растревоженного Шамана, оглянулся на таинственную глубину сада, и в голове его появилась ошарашенность. – Ни фиги себе... – сказал Ошеверов шепотом. – Ни фиги себе, – повторил он с некоторой религиозностью в голосе.

– Ну как, Илья, ничего мы устроились? – спросила Валя – она все еще искала подтверждений, что обмен получился не самый худший, что можно смириться с разваленными печами, протекающей крышей и щелями в стенах и что ее вина не так уж велика...

– Что значит ничего?! – взревел Ошеверов. – Да вы самые счастливые люди из всех, кого я знаю! Ребята, вы даже не представляете... И цветы успели посадить! Мать вашу...

– Сами выросли, – пояснила Валя... – Это флоксы. Они многолетние, каждую весну вырастают и все лето цветут.

– А пес! Боже, какой пес! – Ошеверов присел перед Шаманом, посмотрел ему в глаза, потрепал за уши. – Да это же самая настоящая сибирская лайка! А окрас! Это страшно редкий окрас – рыжий с чернью, причем, обратите внимание – рыжина мягкая, гладкая, но с чернью. Кубачинские мастера золото чернят, а у вас собачий хвост золотой с чернью! Какой хвост, какой хвост! На Севере большие деньги дают за таких собак. Сколько отдали? – Ошеверов повернулся к Вале.

– Сам пришел.

– Боже! – Ошеверов схватился за голову. – Неужели такое бывает! Как его зовут?

– Шаман.

– А почему Шаман?

– Сам сказал, – улыбнулась Валя.

– Прекрасное имя, – одобрил Ошеверов. – С северным отголоском. И чертовщина в нем какая-то есть – Шаман, Шайтан, Шабаш...

Из дома неслышно вышла Катя и остановилась на пороге, шурясь на неяркую лампочку. Она была в длинной цветастой рубашке – видно, только проснулась, услышав шум.

– Здравствуйте, – сказала она. – Вы к нам в гости приехали?

– О! – закричал Ошеверов. – Кого я вижу! Да это же Екатерина! Да какая большая, да какая красивая, да какая сонная! Здравствуй, Екатерина! Рад тебя видеть в добром здравии! Как поживаешь?

– Не знаю, – Катя пожалала плечами. – Наверно, хорошо... У нас еще есть кот Филимон, только он прячется, не привык еще.

– А Шаман его не обижает?

– Нет, Шаман его любит, зализывает, когда Филимон израненный возвращается.

– Я смотрю, этот Филимон большой жизнелюб! – засмеялся Ошеверов. – Запирать его в дом на ночь!

– Нет, – Катя покачала головой. – У него здесь друзья, подруги, он заскучает... Хотите посмотреть? – Она метнулась в дверь и через минуту вынесла громадного сонного кота с необыкновенно длинной белоснежной шерстью. Кот, словно понимая свою значительность, был невозмутим, позволяя провонявшим бензином ошеверовским пальцам себя гладить и трепать.

– Разве это кот, – урчал Ошеверов. – Это владыка местных крыш, подвалов, чердаков. Владыка! Правда, не все его признают, – добавил он, нащупав шрам на кошачьей морде, – но с владыками это случается... Невероятный кот. Где взяли? Сам пришел?

– Нет, – Катя покачала головой. – Знакомые из Москвы привезли, у него там родня осталась – отец, мать, братья... Им тесно в коммунальной квартире, вот его и привезли. Он еще не привык. А Шаман его любит.

Понимая, что разговор идет о нем, что его хвалят, Шаман заливался радостным лаем, уносился в сад, шуршал там где-то, выскакивал на дорожку, одним махом впрыгивал на террасу и тут же снова исчезал, описывая по саду стремительные рыжие круги из шороха и лая. Но каждый раз что-то заставляло его уйти с дорожки в том месте, куда вонзалась свисавшая из космоса невидимая светящаяся линия непутевой ошеверовской судьбы.

– Первый прибыл, – сказал бы Аристарх, окажись он здесь. – Второй в пути.

– Почему ты так решил? – спросил бы его Автор, попади он тоже в шихинский сад этим вечером.

И тогда Аристарх показал бы вторую линию, которая пересекалась с первой над кирпичной трубой и уходила в землю недалеко от дуба. Она была не столь яркая, но с чистым фиолетовым отливом.

– Он скоро будет здесь и примет посильное участие во всем, что произойдет, – это слова Аристарха.

– А что здесь произойдет?

– Автор должен знать. Не могу же я тебе постоянно подсказывать. Привыкли, понимаешь, к указаниям, шагу ступить не могут! Тоже еще мыслители! Прорицатели! Властители дум!

– Ты не знаешь или тебе нельзя говорить? Или не хочешь сказать? Или возможны отклонения?

– И на эти вопросы не отвечу, – сказал бы мне Аристарх, как он говорит частенько, когда я становлюсь слишком уж назойливым. – Этого нельзя знать преждевременно, – пояснил бы он погода. – Понимаешь, важно не само знание, а способность правильно его истолковать. Подари дикарю пистолет, чтобы облегчить ему участь, подари из самых лучших побуждений. И чем кончится? Он убьет себя. Начнет в ствол заглядывать, пальцы туда совать, кнопки и крючки нажимать... Нужно знать, что стоит за явлением, что им движет, к чему все идет. Любое знание должно быть своевременным. Много ли проку от того, что я знаю тайны испан-

ского двора? А лет триста-четыреста назад, да в Испании... О! Я стал бы могущественным человеком. Хотя и сейчас не жалею. Торопиться со знаниями не стоит, нельзя. Мы ведь скрываем от детей наши тайные страсти, скрываем от ближних нашу униженность, от любимых скрываем нищенство, зависимость. А сколько всего мы скрываем от самих себя, – грустно добавил Аристарх.

– Например? – вставил я несколько бесцеремонно.

– О! – Аристарх улыбнулся, и я понял, что лучше бы мне промолчать. – Зависть. Мы не так скрываем ее от ближних, как от самих себя, мы не признаемся в ней, даже когда для всех она очевидна... А разве мы не скрываем от себя измену жены... Случаются дни, когда для нас нужнее всего непробиваемое невежество, спасительная ограниченность, надежная тупость... А собственная наша никчемность... Разве мы не прячем ее от себя за семью замками... Разве не оправдываем стечением обстоятельств, невезением, людской неблагодарностью... О! – Аристарх замолчал, и на этот раз я не решился нарушить его печаль.

Фыркая и взвизгивая, Ошеверов умылся до пояса под яблоней и сел за стол вместе с хозяевами.

Посредине террасы.

Пить чай.

Начался дождь, редкие капли застучали по листьям, сбивая с них дневную пыль, по крыльцу, по железному корыту, оставленному у забора. С крыши потекли струйки воды, и

Ошеверов, время от времени протягивая руку, подставлял под них свою крупную горячую ладонь, которая весь день сжимала баранку тяжелого грузовика. Капли разбивались о ладонь, остужали ее, мелкие брызги летели в стороны, и лицо Ошеверова говорило о неземном блаженстве, которое он испытывал в эти мгновения.

– Как я понимаю японцев, – вздохнул он.

– А что японцы?

– Вот вы не знаете по темноте своей, – без улыбки проговорил Ошеверов, – а японцы, эти потрясающие мастера икебаны, всегда у дома, под окнами сажают широколистные растения... А почему? А потому, что, когда идет дождь, капли разбиваются о листья и шуршат, рождая в душе японца неопишемое наслаждение.

– А у нас вон корыто под дождем стоит, – заметил Шихин, – тоже ничего звук.

– Пожалуй, – согласился Ошеверов. – Даже четче. Звонче. Понятней нашему неизбалованному уху.

Под шум дождя, при свете желтой лампочки Шихин и Ошеверов пили чай. Катю отправили спать, вскипятили еще один чайник, продрогнув, оделись потеплее, теснее сдвинулись к столу.

Где-то у станции оглушительно громыхнуло, сверкнула молния, на мгновение осветив сад холодным голубоватым светом. Дождь пошел сильнее, корыто у забора наполнилось и уже не звенело под ударами капель. Шаман иногда подни-

мался, подходил к краю террасы, долго всматривался в шуршащую дождем темноту, потом возвращался и укладывался в углу.

– Что везешь? – спросил Шихин.

– Рыбу. Мороженую рыбу. Морского окуня. Филе морского окуня.

– Ого! – восхитилась Валя. – А у нас за этим окунем такая давка... Только участникам войны да местному начальству и достается – у них отдельная очередь.

– Но им же положено вообще без очереди? – удивился Ошеверов.

– Вот те, которым положено без очереди, выстраиваются в свою очередь. И она побольше общей.

– Ладно, подарю. Плитку-вторую подарю.

– Будут неприятности? – спросил Шихин.

– Не должно. Довез хорошо, вовремя... Все в порядке, ребята, все в порядке.

– А что Салехард?

– Гори он синим огнем, этот Салехард! Я думал, они любят фотоискусство, жаждут сфотографироваться у настоящего мастера, надеялся, что от заказчиков отбоя не будет... Оказывается, им не до этого. Их милиция не может заставить на паспорт фото принести. Штрафы платят, а сниматься не хотят. Некогда. Понял? Деньгу зашибают. Давай, говорю, портрет сделаю. А он смеется. Сколько заплатишь, спрашивает.

– А где жил?

– В фотолаборатории. Среди проявителей, закрепителей и этих... осведомителей.

– Что-то унюхали?

– А! Какой-то псих донес в пожарную инспекцию. Так, дескать, и так, спит в служебном помещении. Не положено. Как бы пожара не случилось. Представляешь, я с девочкой беседу провожу, о жизни рассказываю, о себе, ее расспрашиваю, время идет, ночь... И вдруг – стучат! Представляешь?

– И что? Конфуз? – улыбнулся Шихин.

– Никакого конфуза. Я взял кочергу и гнал их три квартала. Участкового, пожарника и коменданта. Три квартала, понял? Думаю, не догоню, так согреюсь. В Салехарде, по снегу, в шлепанцах на босу ногу. Представляешь?

– А девочка?

– Девочка хорошая оказалась... Чаю за это время вскипятила, хлеба нарезала, постель приготовила... Когда вернулся, мне из бороды снег выбирала. Очень хорошая девочка. Затейница из Дома культуры. После этого скандала пришлось, конечно, сматываться в двадцать четыре часа. Девочка обещала помнить... Как она пляшет, как поет! Не говоря уже... Нет, не буду.

– А в водители надолго?

– Как получится, ребята, как получится... Пока езжу. Живу. Дышу. И крыша над головой. И пропитание. И друзей вот повидать удастся. И ладно. Пусть. Там видно будет. Жизнь

покажет. Авось.

Он замолчал, прислушиваясь к влажному шуму сада. При вспышках молний было видно, что дождь совсем рядом стоит сплошной стеной. Гром раскалывался с таким оглушительным треском, что казалось, будто где-то там, в ночном поднебесье, действительно что-то раскалывается вдребезги, осыпается потускневшая штукатурка, а утром из-под нее покажется чистое, обновленное небо.

– С фотографией завязал?

– С фотографией... – Ошеверов поморгал светлыми ресничками, потер тяжелыми ладонями толстые заросшие щеки, поводит головой из стороны в сторону, словно что-то мешало ему дышать. – Завязал. Нету духу, ребята. Духу нету. Фотками нельзя заниматься без азарту. Ничем нельзя заниматься без азарту. Блоху и ту не поймаешь.

– А как Зина?

– Зина? – с удивлением переспросил Ошеверов. – А кто это?

– Как кто, жена твоя!

– А... Съехала. Не то пятый, не то седьмой раз съехала. Вывезла гардероб, диван и этот... и как его...

– Холодильник, – подсказал Шихин.

– Да, и холодильник. А ты откуда знаешь?

– Сам же говоришь – седьмой раз.

– Вообще-то да... Я вот подумал – не заняться ли мне... Это... Арбузы разводить. Или роман о скифах напишу. Не

знаешь, сколько за роман платят?

– По-разному. Но не так много, как за арбузы.

– Понятно. Начальству больше, подчиненным меньше.

– Какие подчиненные в литературе? – спросила Валя.

– А что, нету? Это хорошо, это мне подходит... Только вот не верю я, что где-то есть место, где ни начальства, ни подчиненных... Такого не бывает. Без начальства жизнь остановится. Начальники – это отцы наши родные. А жены – пушки заряжены. Никогда не знаешь, когда бабахнет. Живешь, как на войне, всю жизнь на войне, ребята.

Шихин даже не улыбнулся столь неожиданным колебаниям Ильи, тот в самом деле мог заняться и арбузами, и романом. С равным успехом. Но Шихин знал, что не будет у Ошеверова успеха нигде, чем бы он ни занялся. Слишком непоседлив, неспокоен, непредсказуем.

Поговорили о друзьях, оставленных в родном городе, сплетничали, посмеялись. Истории, приключившиеся с ними, пересказывались постоянно, стоило им только встретиться, выпить по стакану вина, по стакану чая. Шихин и Ошеверов еще раз рассказали друг другу, как карманники украли у Жорки Верстакова диссертацию, а потом потребовали за нее бутылку водки, и Жорка долго колебался и раздумывал, пока жена сама не отнесла поллитровку и не забрала у карманников потрепанную папку с чертежами, схемами, графиками, отражающими горное давление в пустотах. Потом напомнили друг другу, как Иван Адуев слал себе те-

леграммы и с днем рождения поздравлял, актерами подписывался, учеными, маршалами, все якобы его чтили и торопились засвидетельствовать и пожелать. Адуев народ собрал к столу и знай телеграммы вслух зачитывает, а от поздравления министра обороны даже прослезился, не смог до конца дочитать. Припомнили, как Васька-стукач на свою жену анонимку написал, пытаясь уберечь ее от неверности и прелюбодеяния, но его затея вскрылась, и был позор, срам, все смеялись, показывая на Ваську пальцами, любопытствовали – не чешутся ли рога, когда растут, не давят ли, не зудят ли по ночам, не стоит ли проделать в шляпе дыры для тех же рогов, нельзя ли их использовать в домашнем хозяйстве, например, кашу помешивать, или галстуки вешать, или неверной жене спину чесать? В общем, все получилось смешно и печально. Это были злые шутки, но Васька-стукач их заслужил своей неустанной совместительской деятельностью.

Однако в ту грозовую ночь старые истории не позабавили наших героев, что-то мешало им смеяться легко и освобожденно.

– Какой-то ты не такой сегодня, – не выдержал наконец Шихин. – Затеяницу забыть не можешь?

– Не могу и не хочу. Но дело не в ней.

– Уж если Васька-стукач тебя не позабавил, то дело плохо. Давай выкладывай, чего там у тебя...

– Ну, хорошо... Тебе как здесь вообще... Нравится? – спросил Ошеверов.

– Ничего, жить можно.

– Не жалеешь, что уехать пришлось?

– Уехал и уехал. Делать там нечего. Ни мне, ни Вале.

– Почему... Контор полно, заводов еще больше, при заводах многотиражки...

– Понимаешь, – Шихин помолчал, – появилась какая-то... офлажкованность.

– Значит, ты это почувствовал?

– Да, – кивнул Шихин. – Офлажкованность или что-то на нее похожее. Куда ни ткнешься, везде от ворот поворот. Будто кто-то бежит впереди и предупреждает, дескать, сейчас придет заразный, поганый, дурной, гоните его, не то и вам достанется. Прихожу и по глазам вижу – он уж побывал здесь, опередил меня. Ткнулся в одну газету, во вторую, на радио, телевидение, в те же многотиражки... Глухо.

– А здесь? Ничего такого не появлялось?

– Здесь вроде... пока... ничего. Да и не до того. Дом вот надо к зиме готовить – печи перекладывать, стены конопатить, крышу латать, рамы менять... Устроился на местный заводик – какая-то ремонтная шарашка. Записали разнорабочим, но в основном наглядную агитацию рисую. Даешь ускорение, даешь усиление, даешь умиление... Но удобно – в двух шагах.

– А что на плакатах?

– Разное! – рассмеялся Шихин. – На прошлой неделе, например, родил мощного полуголого мужчину, тут же молот

и гора блестящих болтов, а сам он смотрит на тебя призывно и страстно, следуй, дескать, моему примеру, производи качественные заготовки. Сегодня изобразил конструктора в глубокой задумчивости у чертежной доски. Это надо понимать так – раньше он работал не думая, а теперь под влиянием неодолимых общественных сил в душе у него началась перестройка. Начальству очень понравилось. Обещали премию выписать.

– Большую?

– Ну какую премию могут выписать разнорабочему? Вряд ли ее хватит на плитку филе, которую ты собираешься подарить.

– Подарю-подарю, не напоминай. Я ничего не забываю. Хотя кое-что и хотелось бы забыть. Как и тебе, наверно, а?

Ответить Шихин не успел. На террасу вышла Валя с большой тарелкой, наполненной вареной картошкой. От нее поднимался пар, она светилась, а если учесть, что рядом шумел дождь, сверкали молнии, было зябко и сыро, то картошка производила неизгладимое впечатление. Это было семейное блюдо Шихиных, и каждый, кто заглядывал к ним, всегда мог рассчитывать на вареную картошку. Приготовить ее несложно, запоминайте. Прежде всего требуется картошка. Ее нужно почистить, залить водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, в кастрюлю можно бросить укроп, лавровый лист, гвоздику, корицу, душицу – все, что найдется в доме. Важное условие – картошка должна быть немного недо-

варенной. Рассыпчатой, но плотной. А если еще под рукой окажется подсолнечное масло, лук, петрушка, то тут уж начинается настоящее чревоугодие. Это был именно такой случай – нашлись у Шихиных и зелень, и подсолнечное масло.

А ведь Автору хотелось показать приезд Ошеверова совсем иным. Это должен быть радостный штурм беззащитной деревянной избы с хлопками шампанского, с бараньей ногой, с ворохом дорожных анекдотов, может быть, даже с заблудшей девицей, которую Ошеверов вез с собой уже вторую тысячу километров, а у девицы свои капризы, уже запутанные отношения с Ильей, надежды на него, разочарования в нем, но и то и другое скороспелое, дорожное и потому не окончательное. И Ошеверов должен был кричать, воздевать руки, топтать ногами, поднимать Шихина в воздух и кружиться с ним по саду, он должен был ловить ежей, орать на белок, явиться ему положено было днем, в солнечную погоду, и не на этом пропыленном грузовике, а на сверкающем такси, грузовик намечалось оставить при какой-то дорожной забегаловке, для Ошеверова у Автора был готов прекрасный костюм, как говорится, цвета сливочного мороженого...

И так далее.

Но вышло совсем иначе. Каким-то печальным приехал Ошеверов, на грузовике с прицепом, в замасленном комбинезоне, без девицы и без бараньей ноги, в ночь заявился, в дождь, чем-то озабоченный, за столом сидит усталый, разговаривает без подъема. Будто другой человек. Автор хорошо

знал Илью Ошеверова и может утверждать, что таким вот, безутешно подставляющим ладонь под струйки дождя, Илья бывал чрезвычайно редко, если вообще бывал. И уж, конечно, он не позволил бы себе в плохом настроении, в замызганном виде явиться к Шихину. По той роли, которую он усвоил в жизни, Илье надлежало вести себя шумно и жизнерадостно, даже когда ему бывало чертовски паршиво, а ему чаще всего и бывало чертовски паршиво.

Все в этом мире взаимосвязано — дело в том, что у самого Автора день, когда писались эти страницы, оказался не из лучших. Ему пришлось выстоять не то две, не то три очереди, чтобы купить билет на самолет в Москву, а это непросто, где бы вы ни оказались. Пришлось с кем-то поругаться, а в таких случаях не удастся препираться лениво и равнодушно, материшься со страстью и убеждением, с истинной оскорбленностью, исступлением и, конечно, выкладываешься полностью. До самых глубин ума и души добираешься, чтобы в долю секунды найти слова обиднее, неожиданнее, злее и одним ударом переломить ход склоки в свою сторону. Да что говорить, все мы с детства усваиваем суровые законы очередей, на всю жизнь закаляемся и можем постоять за себя, можем таким словцом под дых садануть, что человек пошатнется, за сердце схватится, и дай ему бог устоять, выжить и сохранить силы для следующей очереди. В этот день на долю Автора выпало несколько переполненных автобусов, легкая перепалка у газетного киоска, стычка посерьезнее на почте,

потом лай в столовке, когда вместо обещанной и уже оплаченной курицы Автору подсунули какую-то костлявую хребтину, да еще обсчитали на полтинник, да еще вслед таким словцом между лопаток огрели, что...

Что делать, это происходит с нами каждый день, и потому мы такие, а не другие. Хотя в глубине души мы, конечно, добрее, терпимее, легко знакомимся, доверяя самое заветное, охотно прощаем чужую оплошность, мы веселы, щедры, остроумны. В душе. Но жизнь требует от нас отнюдь не лучших качеств, жизнь испытывает нас на непреклонность, мы постоянно готовы к схватке, чтобы уберечь себя от обиды и поруганья.

Вот и получилось, что когда Автор добрался наконец до машинки и, заложив чистую страницу, взмахнул руками, чтобы исполнить нечто бравурное и удалое, чтоб гудки ошеверовского грузовика слышались за несколько километров, чтобы девица в кабине оказалась прельстительной феей дорог, а не зашморганной побирušкой, чтобы под сиденьем у Ошеверова нашлись две-три бутылки шампанского, как это частенько и бывало...

Не получилось. Ошеверов безрадостно остановился у калитки, закрыл дверцу, вы слышали, как она захлопнулась? С какой-то безнадежной смиренностью. Этот звук эхом отразился на настроении Ошеверова, на разговоре, который чуть позже произошел у него с Шихиным. Не случись у Автора столь тяжелого дня, Илья никогда бы не пал до того, чтобы

в день приезда, в час встречи со старым другом сообщить тому неприятность. А так – сообщил.

– Знаешь, – сказал он, когда с картошкой было покончено, – пройдем к машине... Дождь вроде кончился... Посмотрим, как там и что... Мало ли...

– Да у нас тут спокойно, – не понял Шихин. – Вот если бы ты на «Жигулях» приехал, тогда другое дело – и колпаки могли бы снять, и колеса свинтить вместе с колпаками, и щеточки-решеточки...

– Пройдем, – сказал Ошеверов, и было в его голосе что-то такое, что заставило Шихина подчиниться. Он недоуменно оглянулся на Валю, мол, сам не знаю, в чем дело, и направился к ступенькам.

Шихин и Ошеверов спустились в мокрый сад, прошли мимо царственных флоксов и углубились в чащу. От малейшего прикосновения к веткам падали крупные капли дождя, подзадержавшегося в листьях, и Ошеверов каждый раз вздрагивал – это было так не похоже на его сегодняшнее путешествие в парах бензина, в грохоте горячего мотора, в вое проносающегося мимо железа, в злом слепящем свете встречных фар.

Грузовик стоял тихо и понуро, как лошадь, которую забыли выпрячь из телеги после дальней дороги. До сих пор что-то в нем капало, вздыхало, иногда раздавался еще слышный металлический звон – ослабевали стальные жилы машины. В свете дальних фонарей тускло блеснуло ветровое стекло,

изгиб кабины, ребристые шины. Мимо станции прогрохотала электричка – отсюда был виден лишь длинный ряд окон. Когда вагоны проносились мимо озера, светящиеся квадраты отразились в нем, раздвоились, и картина стала совсем уж какой-то ненастоящей. Шихин еще не привык к шуму электрички, к ночному ее виду, к ее предрассветным крикам, все это волновало его, словно зыбкое напоминание о чем-то таком, что имеет с ним давнюю таинственную связь. Он проводил взглядом огни, дождался, пока скроются за деревьями красные огоньки последнего вагона, и лишь тогда повернулся к Ошеверову.

– В Звенигород пошла, – сказал Шихин.

– Слушай, Митя... Я узнал одну вещь... Узнал на прошлой неделе, поэтому не смог сказать раньше... На тебя была анонимка.

– Не понял?

– Какой-то тип написал донос. Поэтому тебя и шуранули из газеты. Фельетон – это так, повод.

– А что на меня можно написать?

– Ты слишком много болтал.

– Ну и что? Все, о чем я болтаю, о чем думаю, о чем хочу написать... Я пишу. Я собираюсь заниматься этим в дальнейшем. И мне плевать...

– Митя! – Ошеверов нашел в темноте локоть Шихина и сжал его. – Остановись. Обсуждать тут нечего. Тут больше думать надо. Важно не то, что ты сказал, а как истолковано,

подано, куда направлено. Результаты ты ощутил на собственной шкуре. Ты здесь. Я знаю несколько строк из анонимки. Они... дают повод усомниться в тебе. Понял? Я допускаю, что ты мог их произнести, эти слова, допускаю. Но близкому человеку. Случайно такие вещи не говорят.

– Что же я такого опасного сказал? Чем заставил наше государство содрогнуться от ужаса?

– Не больше того, что ты сказал сию минуту. В тебе отсутствует почтительность. А требуется именно это. В твоих словах снисхождение к государственным ценностям, понимание его слабостей, капризов, страхов и претензий. Ты произнес пять слов, и с тобой все ясно. Ты высказал пренебрежение, посмеялся над мудростью государства, над его бесконечной заботой о тебе, дураке, чтоб, не дай бог, ты не вздумал жить как-то по-своему. Ты не виноват, Митя. Это у тебя в крови.

– Значит, надо сменить кровь?

– Недавно в таких случаях просто пускали кровь.

– Помогало? – спросил Шихин с интересом.

– Не всегда. Но цель достигалась. Человек замолкал.

– Надолго?

– Да. Надолго. Слушай, Митя... Я частенько выражаюсь покрепче. Как и все мы. Но нашелся тип, который все истолковал как надо. Изложил письменно и отправил куда надо. Адрес, слава богу, известен. Этот адрес будут помнить еще не одно столетие.

– Что же это за адрес такой?

– Контора глубокого бурения. Понял? Она занимается техникой безопасности.

– Что-то о ней последнее время не слышать... Она еще существует?

– Да, Митя, да. Если о ней не слышать, значит, она прекрасно себя чувствует. Бумага пришла по почте. Была должным образом оформлена. И стала документом. Человек, к которому она попала, уже не мог обращаться с ней, как ему захочется. Он может считать донос дурью собачьей, отрыжкой вонючего прошлого, но он на службе. На особой службе. И обязан отнестись к информации со всей серьезностью. Если, конечно, он тоже не собирается менять квартиру на такой вот особняк в лесах, не столь близкий к столице. Следует звонок твоему редактору. Он тоже не может сказать – отвалите, ребята. Иначе усомнятся в нем самом. Прутайсов наделал в штаны. И поспешил избавиться от тебя. А подметное письмо стало не просто документом, оно стало подтвердившимся документом, по которому приняты срочные и жесткие меры. И все, падай! Ты убит. Дмитрий Алексеевич Шихин официально признан человеком, опасным для общества. В каком качестве и принимаешь меня сегодня. И ты должен оценить мое мужество и преданность тебе, охламону. Я осмелился, дерзнул и приехал, понял? На это способны немногие. Повывели людей, способных осмелиться и дерзнуть. От них избавились, как говорится, самым решительным образом. И правильно сделали! – во весь голос заорал

Ошеверов, обернувшись на звук хрустнувшей в саду ветки.

– Чушь какая-то, – пробормотал Шихин. – Ну их всех к черту!

Дмитрий Алексеевич Шихин хорошо помнил, как уходил из газеты. Непочтительность не была отражена в его трудовой книжке. Он написал заявление с просьбой уволить по собственному желанию и пошел к Прутайсову подписывать. Вошел без робости, хотя раньше всегда у него была готовность получить нахлобучку, и он, покорно опустив голову, вытянув руки по швам, ковыряя пол носком, терпел редакторский гнев. О, как бесило Прутайсова это скоморошье раскаяние, бессловесное признание полнейшей своей зависимости. Ведь видел, понимал – играет Шихин и придуливается. Но когда тот принес заявление, большое лицо редактора казалось даже опечаленным, а в единственном глазу светилось что-то вроде обреченности. Наверно, это и была обреченность. Вскоре после этих событий Прутайсова самого вышибли из газеты – от неосторожности подписал письмо в чью-то защиту, потребовал чьего-то там оправдания, к кому-то снисхождения. В результате самому потребовалось снисхождение, но он его не получил и ныне заведует наглядной агитацией в парке имени Чкалова. Плакаты вывешивает, транспаранты к праздникам, лозунги сочиняет, подбирает слова, которые более других выражали бы восторг и ликование народа по тому или иному поводу. Работа осталась

прежней, но престиж не тот.

Солидарность, сочувствие, порядочность – это все хорошо, да только надо знать... О, как много чего надо учитывать, прежде чем высказать свое мнение. Не учел Прутайсов, не рассчитал, не предусмотрел, циклоп одноглазый, а уж до чего был хитер, до чего осторожен! Видно, не судьба ему оставаться редактором. Да и в парке с наглядной агитацией успел что-то напутать – то ли в избытке усердия, то ли в недостатке восторженности допустил скрытую непочтительность, и дела его сейчас плохи.

А тогда, увидев вошедшего в кабинет Шихина, он поднялся навстречу, чуть ли не у двери взял из рук заявление и вернулся, сутулясь, к своему столу.

– Я все правильно написал? – спросил Шихин, остановившись на пристойном расстоянии и давая понять, что, даже уходя, он не намерен сокращать разделяющее их пространство.

– А? Да. – Прутайсов махнул рукой в пустоватом рукаве. – Я подпишу... Но дело не в этом...

– Да, конечно, я понимаю, паясничать действительно нехорошо, и я искренне сожалею, что своими поспешными и опрометчивыми словами дал повод...

– Кончай, Шихин, – поморщился Прутайсов. – Я вот о чем... Ты должен правильно понять происшедшее...

– А что, есть основания думать, что...

– Заткнись, наконец! Мы все тут неплохие ребята, ты то-

же не лучше и не хуже других... Тебе бы вот только пообтёреться, пообтесаться, усвоить правила игры... Но все это ты сделаешь уже в другом месте. Не здесь. А понять должен вот что... Да садись ты уже, ради бога, а то я никак не могу собраться... Садись. Вот. И убери руки с колен, хватит дурака валять. И из меня дурака не делай. Пойми, мы не всегда поступаем так, как нам хочется. Чаще мы поступаем так, как должно поступать, как нам советуют старшие товарищи. — Единственный глаз Прутайсова устремился в потолок. — Ты меня понял?

— Знаете, такое ощущение... что не до конца.

— Это ничего. Не все сразу. Поймешь. Тебе не повезло...

— Да, наверно, и это есть.

— Не перебивай. Тебе не повезло с друзьями.

— Вы хотите сказать...

— Ты устрой им... как бы это... небольшую инвентаризацию. Может быть, кое-кого следует списать за непригодностью... Ну? Понял? Да пойми же, наконец! Ну?! Понял? Не понял. — Прутайсов безудержно взмахнул руками, прошелся по кабинету. — Ты доверяешь своим друзьям больше, чем они того заслуживают, — проговорил Прутайсов, остановившись перед Шихиным, проговорил тихо, но внятно, по слогам, буравя его красноватым, воспаленным глазом. — С друзьями можно говорить о бабах, о водке, о... О чем еще? — Он задумался, приложив палец к сероватой щеке. — И больше ни о чем. Теперь понял?

– Кажется, начинает доходить.

– Слава тебе, господи! – Прутайсов облегченно упал в кресло. – Ну, тогда будь здоров. Желаю творческих успехов. Чего напишешь – приноси. Туго станет – приходи. А туго тебе станет обязательно. Приходи. Но не слишком быстро... Через полгода, через год... Вот так примерно. Дай нам немного передохнуть. Ты вот дурачился, спрашивал, не могли ли тебя посадить... Я тебе ответил честно – могли. Понял?

– Угу.

– А теперь катись!

– Дай вам бог здоровья, – смиренно проговорил Шихин.

Прутайсов некоторое время исподлобья смотрел на него, потом пошарил глазом по столу, но, видимо не найдя ничего подходящего, сказал негромко:

– Если ты произнесешь еще хоть слово, я запущу в тебя этой корзиной! А если...

Шихин не стал дослушивать и благоразумно выскользнул за дверь, понимая, что редактор не шутил.

– Чушь какая-то... – повторил Шихин. – Ну их всех к черту! Пошли чай пить.

– А у меня и водка есть, – вкрадчиво сказал Ошеверов. – Не возражаешь?

– Нет. Не возражаю.

– А Валя не осудит?

– Авось, – ответил Шихин, направляясь к калитке.

Странное ощущение охватило его. Ночной сад, холодные влажные листья, гул поездов, самолеты на Внуково, мигающие в разрывах туч красноватыми огоньками, – все это уже не приносило радостного волнения. Во всем появилась враждебность, везде таились опасность и предательство. Хотелось долгим, бесконечно долгим зловредным молчанием обесценить собственные промашки, сбить с толку затаившиеся силы, которые ждут неосторожных его слов, чтобы тут же уличить в недозволенном и поступить с ним по всей строгости ими же придуманных законов.

– Хочется заткнуться и молчать, – сказал он.

– Многие так и поступили, – ответил Ошеверов. – И удивительно, что до тебя только сейчас доходят столь простые и очевидные истины. Оглянись, Митя! Самый безудержный болтун и пустобрех, человек, который не замолкает ни на минуту... На самом деле он молчит. Вслушайся в его треп – он ни о чем не говорит. Он не выражает своего мнения, даже если оно у него есть. Только пересказывает, ссылается, цитирует... Это не мое, дескать, это вон классик наговорил, сосед нагородил, попутчик наболтал!! Мы огораживаемся цитатами и сидим за ними, как за частоколом в круговой обороне. Даже открыв что-то свое, бросаемся тут же искать цитату, чтобы доказать – это не мы придумали, упаси боже! Мы поганые и дурные!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.